

СИБИРИАДА

ВАЛЕНТИН
РЕШЕТЬКО



ЧЕРНОВОДЬЕ

Сибиріада

Валентин Решетько

Черноводье

«ВЕЧЕ»

2012

Решетько В. М.

Черноводье / В. М. Решетько — «ВЕЧЕ», 2012 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4444-0091-3

1931 год. По всей огромной территории Советского Союза гуляют волны народного недовольства. Правящая партия большевиков приступила к силовому решению проблемы нехватки продовольствия – сплошной коллективизации крестьянства. У селян постановили отобрать их главные источники существования – землю и скот. Особое внимание «реформаторы» обратили на сибирские деревни и села, почти не пострадавшие от заморозков и засухи в предыдущие два года. И вот уже добираются до самых окраин уполномоченные, вооруженные постановлениями партии и правительства и разнарядками на «раскулачивание» вчерашних защитников Советского государства – бывших красногвардейцев и красных партизан. Пришла такая беда и в деревню Лисий Мыс, что раскинулась на привольном берегу степного Иртыша. Но люди, живущие здесь, не собираются так просто сдаваться на милость властей!..

ISBN 978-5-4444-0091-3

© Решетько В. М., 2012

© ВЕЧЕ, 2012

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	16
Глава 4	22
Глава 5	30
Глава 6	39
Глава 7	47
Глава 8	55
Глава 9	60
Глава 10	66
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Валентин Решетько

Черноводье

©Решетько В.М., 2012

©ООО «Издательство «Вече», 2012

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

*Вставляю Сталина портрет
В золотую рамочку,
В люди вывел он меня,
Темную крестьяночку.*

Васюганская частушка

В прииртышскую степь пришла весна, робкая и осторожная. Долго бродила она по широким просторам, блудила между лесными околками, заглядывала на короткое время в деревни, развешивая первые тоненькие сосульки на карнизах тесовых крыш, пригревала высокие зава-
лилки, теплым дыханием отогревала промерзшие за зиму оконные стекла, но злые мартовские заморозки и шальные степные ветра гнали ее прочь, вымораживая и выдувая с деревенских улиц все весенние следы. И только в середине апреля она пришла окончательно. С уральской стороны потянулись по низкому небу пухлые сытые облака, принесшие с собой долгожданное тепло. И пролились над степью первые парные дожди.

Вытянувшаяся вдоль крутого берега Иртыша деревня Лисий Мыс как-то сразу почернела. Почернели высокие тесовые крыши, крепкие сибирские заплоты, наглухо отгораживающие дом от улицы, даже двустворчатые ворота, прикрытые, точно картузом, двускатной крышей, и резные калитки с железными коваными кольцами – и те потемнели. Почернели дороги, почернели поля за околицей, обвисли темные тонкие ветви на белоствольных березах. И казалось, что не ветви спускаются вниз, а березовый дождь живительными струями орошает заждавшуюся землю. За огородами на речном льду темнели обширные разводья. Не сегодня завтра тронется Иртыш.

Глава 1

По степи медленно ползла одинокая конская упряжка. Крепкий вислозадый мерин гнедой масти с натугой тащил за собой дрожки. Снег в степи почти весь сошел и лежал только небольшими серыми лоскутьями в низинах под мелкорослым кустарником, да желтела льдисто-снежная масса на дороге, обильно унавоженная конским пометом за длинную сибирскую зиму, отчего дорога была похожа на рваный вспухший рубец, точно кто рассек необъятную степь от горизонта до горизонта ударом гигантской розги. По дороге ехать было совсем нельзя, и конь, покачивая мокрыми боками, старательно месил грязь по обочине. За дрожками оставались глубокие следы от колес, которые постепенно заливались талой водой. По равнине, тоскливо подвывая, гулял сырой холодный ветер да иногда, так же тоскливо крича, металась в воздухе спугнутые повозкой чибисы.

На дрожках, свесив ноги, сидел молодой белесый мужчина, крутоплечий и крепкий, с румянцем во всю щеку, который на промозглом ветру приобрел синюшный оттенок. Бледно-голубые, почти бесцветные глаза опущены светленькими коротенькими ресничками. Над упрямым тяжелым подбородком и ртом с узкими твердыми губами нависал прямой тонкий нос. Человек зябко кутался в просторный бараний тулуп.

– Но-о, язва! – понужнул он выбивавшуюся из последних сил лошадь и поплотнее запахнулся. – Хорошо хоть жену послушался, взял тулуп, а то бы хана! Ну и погодка, зуб на зуб не попадает. Внутри будто ледышка застыла... – чертыхался вполголоса седок. – Добрый хозяин собаку во двор не выпустит, а тут приходится «киселя хлебать». – И он в раздражении вновь стегнул концами вожжей по мокрому лошадиному крупу:

– Ну-у, ты, устал, язва!

Мерин только прятнул ушами и продолжал идти так же, как и шел раньше, не прибавляя шага, да и седок тут же забыл про коня. Покачиваясь в такт ходка,двигающегося рывками, он был весь погружен в свои думы; его сейчас занимало совсем другое – вчерашний разговор с секретарем и предстоящие дела в деревне Лисий Мыс.

Секретарь райкома стоял перед ним на кривоватых ногах, одетый в темно-серый китель с отложным воротничком, в синих, почти черных галифе и хромовых блестящих сапогах, слегка покачиваясь с носка на пятки, по въевшейся привычке старого кавалериста. Серыми неулыбчивыми глазами он строго смотрел на собеседника:

– Объяснять мне вам нечего, Алексей Кириллыч. Сам был на заседании бюро райкома. Так что все знаешь, все слышал. Завтра поедешь уполномоченным от района по коллективизации в Лисий Мыс. Райком на вас надеется. Хочу сразу предупредить: деревня старая, в основной массе зажиточная, и народ там не простой.

Как приедешь на место, сразу свяжись с председателем сельсовета Марченко Иваном Андреевичем. Сам он середняк, а секретарь Хвостов Спиридон – вообще деревенский пролетарий. Действуйте сообща, привлеки молодежный актив. Там, кажется, есть такие. В общем, на месте сориентируешься! – поучал секретарь райкома. – И еще мой совет, – продолжал он, – организацию колхоза не затягивай.

Ее нужно провести быстро, решительно, чтобы народ не успел опомниться, – он скупой улыбнулся и сразу же посерьезнел: – Посевную нынче должны провести уже в колхозах и на колхозных полях! – секретарь райкома поднял палец и многозначительно произнес: – Это указание сверху! Если сорвем план по коллективизации, можно лишиться и партийного билета! – Он медленно прошел по кабинету. – Нужно учитывать, Алексей Кириллыч, что в настоящий момент обостряется классовая борьба. Кулачество, подкулачники и их приспешники будут всячески стараться сорвать планы партии по организации колхозов в деревне. Здесь нужно проявить бдительность, строгость. И никакой, я повторяю, никакой жалости к классовым вра-

гам пролетарского государства! – он остановился, повернулся к уполномоченному, энергично рубанул рукой, точно шашкой. – Никакой жалости! – И уточнил у Быстрова: – У вас разнарядка на сколько семей для раскулачивания?

– На три, – ответил уполномоченный.

– Вот и распорядитесь ею с умом! – проговорил секретарь райкома и задумчиво закончил: – Иной горластый середняк может гораздо больше принести вреда в деле коллективизации... Есть у нас правдолюбцы! – Он внимательно посмотрел на Быстрова. – Желаю успеха! – Секретарь крепко пожал руку уполномоченному. – Оправдайте свою фамилию, товарищ Быстров, райком надеется на вас.

– А что? – рассуждал Быстров, вспоминая беседу с секретарем райкома. – Он, пожалуй, прав. Рассусоливать в этом деле не надо. Чем больше разговоров, уговоров, тем больше будет сомнений и нерешительности. «Брать быка за рога», – усмехнулся уполномоченный. Его смущал только один вопрос – раскулачивание.

«Ничего, вывернемся! – успокаивал себя Быстров, намечая в уме план действия в деревне: – Значит, так: сразу ехать нужно в сельсовет и встретиться с Марченко. Все с ним обговорить и сегодня же вечером провести совещание, на которое пригласить деревенских активистов. На нем наметить повестку собрания и семьи к раскулачиванию».

Так, за думами, он не заметил, как подъехал к березовому околку. Быстров очнулся от неумолчного птичьего гама. Грачи и вороны крикливо осваивали свое гнездовье. Он внимательно осмотрелся:

«Кажется, приехали: за околом Лисий Мыс!» – с беспокойством и все усиливающимся волнением подумал уполномоченный. Дрожки вывернули из-за березовой рощи, вдоль берега Иртыша на несколько километров раскинулась деревня. Где-то в середине улицы, на доме с круглой крышей трепетал на ветру выцветший флаг.

Быстров остановил лошадь, посмотрел вдоль улицы и невесело усмехнулся:

– Ну что ж, хорошо хоть спрашивать не надо, где сельсовет!

Да-а, многое бы он дал сейчас тому, кто избавил бы его от хлопотного занятия...

В то время как уполномоченный из района подъезжал к сельсовету, из дома, стоящего в том же порядке, вышел мужчина и медленно пошел по деревенской улице. Среднего роста, широкий в плечах, на голове шапка из рыжего собачьего меха, на плечах расстегнутая телогрейка, на ногах ичиги, подвязанные у щиколоток светлыми сыромятными ремешками. Он так жадно вдыхал влажный весенний воздух, что ноздри его крупного носа с небольшой горбинкой слегка трепетали. Упрямый рот обрамляла густая нечесаная борода. В его серых, глубоко сидящих глазах пряталась тревога.

Та самая тревога, которая прочно поселилась нынешней весной в сердце сибирского мужика и как ползучая ржа разъедала ему душу. Она не давала спокойно спать в привычной и жаркой постели.

Не раз голосили в домах бабы, подвернувшиеся в такую минуту под горячую мужскую руку со своими советами. Металась мужицкая душа, точно пойманный в капкан волк. Металась, а выхода ей не было. И мужик тоскливо думал, что же это за хреновина такая – колхоз? Пощупать бы руками его, попробовать на зуб, на худой конец – посмотреть бы издаля. И с врожденной крестьянской хваткой прикидывал в уме, а вдруг в нем лучше – в колхозе-то. Даже сама мысль, что он может упустить свою выгоду, приводила его в смятение. Но с другой стороны – отдать землю, свой скот в руки чужому дяде. И мужик снова загонял себя в тупик неразрешимого противоречия. Прислушиваясь к разгулявшейся нынешней весной молве, он со страхом и удивлением думал: почему силком? Почему?.. У него, привыкшего крепко стоять на земле на собственных ногах, руководствоваться в делах здравым смыслом, на этот счет были свои понятия: «К хорошему силком не тащат, к хорошему люди идут сами».

Вот и ерепенился сибирский мужик, весь внутренне ошетилившийся, точно колючий ерш, выхваченный безжалостным рыболовным крючком из привычной воды на сухой берег.

Эта же ползучая ржа разъедала душу и Лаврентию Жамову. Нет, не мог он поверить на слово в распрекрасную жизнь, которую рисовал ему зять, председатель сельского совета, муж родной сестры Матрены. Нет, не мог... Да и рисовал Иван Андреевич эту распрекрасную жизнь путано, неуверенно, не рисовал, а вносил еще бо́льшую сумятицу в беспокойную мужицкую душу.

«Еще этот сопляк, не успеет порог переступить... – морщится Лаврентий, вспоминая захлебывающуюся речь молодого парня, Ивана Кужелева, деревенского активиста, – ты, грит, дядя Лаврентий, подумай, какая жисть наступит. Поля широкие, на полях – трактора. Не жисть – малина: все машины за тебя делать будут».

«Машины, трактор, – зло думает Лаврентий. – Сопляк – он и есть сопляк. Да разве крестьянина с его руками заменишь! Землица ласку любит – руки крестьянские. А то – “трактор, трактор”. – И он уже с неодобрением подумал о своей дочери: – Чего пластается за этим балабоном, других будто нет. Нашла по ком постромки рвать», – и, не сдержавшись, раздраженно плюнул себе под ноги.

– Здоров будь, Лаврентий Васильевич! – вдруг остановил его старческий голос.

Жамов остановился и посмотрел на старика, стоящего на обочине дороги. Обут он был в высокие самокатанные валенки, подшитые кожей, и одет в нагольный потертый полушубок. Дед тяжело опирался обеими руками на палку. Он был очень старый, казалось, убери у него палку-подпорку – и его высохшее тело не устоит на земле, рассыплется в прах.

– Извиняй, дедушка Нефед, не заметил. Задумался.

– Куды бредешь? Ай?!

– А хрен ее знат. Кабы знал! – горько усмехается Лаврентий.

– Вот я и говорю, весна-а! Просыпается землица, просыпается, родимая! – умиленно дребезжит старик, помаргивая слезящимися глазами.

– Просыпается, мать ее за ногу! – раздраженно буркнул Лаврентий.

– Ай?! – приставил ладонь к уху старик.

Жамов безнадежно махнул рукой и пошел дальше к недалекой деревенской околице. Шел Лаврентий Жамов, чернел от распивавших его дум – врезались в лицо глубокие неизгладимые морщины.

«Знать – куда соломки постлать, – думает бывший красный партизан. Там было все понятно: дрался он за советскую власть, за землю, которую она обещала. Гонял по степи колчаковцев, его, как зайца, гоняли колчаковцы. Кто – кого! Все просто и понятно. Завоевал он землю вот этими руками.

Лаврентий невольно вытянул руки, посмотрел на тяжелые мозолистые ладони с толстыми крючковатыми пальцами. И, словно устыдившись своего порыва, опустил их. Руки повисли вдоль тела безвольными плетями.

«Пощупать бы эту красивую жисть. Пощупай, пощупай, Лаврентий Васильевич, только отдай сначала землю в колхоз, тобой возделанную, сгони скотину на общий двор...

«А взамен че? – спрашивал себя Жамов. – Кот в мешке?»

В мыслях опять звенит голос Ивана Кужелева, Настиного жениха:

«Да не отбирает советская власть у тебя землю, а обоб...» – Жамов даже мысленно спотыкался на этом слове, вспоминая его.

– Обобчисляет! Слово-то какое колючее! – бурчит под нос Лаврентий. – Обчистят мужика, ей-ей, обчистят!

И вспомнился ему случай из далекого детства. В жаркий июльский полдень сбежал он с ребяташками на Иртыш и провел там целый день. Отец не ругался, он просто сказал десятилетнему мальчишке, и Лаврентий запомнил на всю жизнь:

– Мне отец мой, а твой дед Василий, в свое время говорил: «Запомни, Лавруха, – кто в хрестьянстве дружбу с удочкой водит, – у того нужда во дворе бродит».

– Во, во! – бормочет Лаврентий. – Приставьте к обчей земле али к скотине Спирьку Хвостова, а еще лучше Митьку Долгова, а я посмотрю.

Да им вместях трем телкам пойла не разлить, а вы – землю!

Да они от заваленки лишний раз задницу не оторвут. А вы им – скотину! Вы зайдите сначала к ним в стайку али в избу. Ноги поломаешь во дворе.

Шел Лаврентий, распалял сам себя, спорил с Иваном-председателем, с другим Иваном – активистом, сердце его кровоточило, исходило криком: «Не согласен я. Дайте посмотреть самому, не тащите силком, ровно быка на бойню!»

Незаметно дорога привела Жамова к березовому околку. От тяжелых, изматывающих душу дум его отвлек птичий шум. Лаврентий поднял голову. Грачи суетливо копошились на вершинах берез, подновляя старые и строя новые гнезда. Они перелетали с ветки на ветку, беспорядочным роем вились в воздухе и орали неистово – на всю степь. Некоторые птицы уже сидели на яйцах. Среди грубо уложенных веток напряженными маячками торчали их хвосты.

– Ишь ты! – с неожиданным интересом стал наблюдать за птицами Лаврентий. – Тоже навроде колхоз, а, небось, каждый в своем гнезде сидит!

Сразу за березовым околком была его земля. Двадцать гектаров дала ему советская власть. Он неожиданно вспомнил, что в партизанском отряде только и разговору было о земле, а не о бабах, по которым страшно соскучились. Лаврентий смотрел на черные проплешины, точно оспины разбросанные по всему полю среди грязно-белого снега. И ему казалось, что это не поле, а больной, перенесший тяжелую болезнь, после холодной и длинной зимы. Он подошел ближе, нагнулся и набрал полную горсть оттаявшей земли. Осторожно разрыхлил ее в руках – черную, слипшуюся. Блеснул белый корешок озимой ржи. Лаврентий нежно, боясь повредить, погладил его грубыми толстыми пальцами:

– Пережил зиму! – ласково бубнил Жамов. – Тепла ждешь, чтоб в рост тронуться! Жди – немного теперь осталось!

Глаза у мужика отмякли, подобрели и вдруг снова наполнились горечью. Он крепко сжал пальцы, так что между ними грязными потеками выступила вода, размахнулся и далеко забросил комочек в поле. Молча повернулся и ссутулившись, точно на плечи ему давила неимоверная тяжесть, пошел, не оглядываясь, назад в деревню.

Глава 2

В сельсовете за столом сидел председатель Иван Андреевич Марченко, а напротив – Быстров. На краю стола лежала фетровая шляпа с залоснившимися полями. Рядом с ней – распухший портфель из коричневой кожи, в меру потертый, с двумя замками. Уполномоченный сидел на табуретке, немного отодвинувшись от стола. Его руки лежали на столе, и натянувшиеся рукава кителя оголили их почти до самых локтей. Пальцы нервно барабанили по столешнице. Марченко завороченно смотрел на эти ухватистые крепкие руки, покрытые густым золотистым волосом, на нервно стучавшие пальцы. За этим столом уже длительное время шел трудный разговор...

– Никто нам не позволит, Иван Андреевич, срывать запланированный показатель по коллективизации. Тебе же известно постановление райкома партии и райисполкома о всеобщей коллективизации района. Понимаешь, о всеобщей... На все сто процентов и никак не меньше!

– Показатели, оно, конечно, дело хорошее! – медленно, с расстановкой говорит Иван Марченко и, взглянув исподлобья на уполномоченного, спрашивает: – А ты, Алексей Кириллыч, не боишься, что в нашем районе вторая Муромка может получиться? Взбунтуются мужики!

– Ну-у, Иван Андреевич, волков бояться – в лес не ходить. Там мозги мы быстро вправили. Здесь тоже – если повторится – вправим!

– Вот я и говорю, без мужиков останемся, если так мозги вправлять будем.

– А ты не бойся, Иван Андреевич.

– Да я не боюсь, Алексей Кириллыч, но на веревке, как скотину, силой не потащишь. Много у меня с ними разговоров было. Грамотешки не хватает.

– Все?

– Все не все, а многие сомневаются.

– А ты, председатель, идешь на поводу у кулаков!

– Какие же они кулаки, – усмехнулся невесело Иван Андреевич. – Возьми моего шурыка, Жамова Лаврентия Васильевича, что он имеет? Три коровы да два коня... Правда, молотилку в прошлом году купил – одноконку. Вот и все его богатства! – Председатель исподлобья смотрел на уполномоченного. – Цельные сутки этот кулак в поле да по хозяйству мотается.

– Партия нас учит, Иван Андреевич, – заговорил с напором молодой уполномоченный, – смотреть не на хозяйство крестьянское, а на дела. Вот и смотри, товарищ председатель, на дела: раз не идет в колхоз – значит, кулак или прихвостень кулацкий. Такие мешают вести трудовое крестьянство по светлой коммунистической дороге. У нас с ними разговор будет короткий, и нам с ними не по пути, – упивался собственным красноречием Быстров.

– Дак ить мужики... – начал неуверенно говорить председатель.

– Я еще раз повторяю, – перебил уполномоченный, – кто будет нам мешать – церемониться не будем. – Он подтянул к себе портфель, щелкнул замками и, порывшись в бумагах, достал листок. – Вот у меня разнарядка из района на раскулачивание трех семей.

– Трех семей?! – побледнел Иван Андреевич. – Это как же – хошь не хошь, три семьи вышли?

– А кто нам позволит нарушать утвержденное райисполкомом постановление? – вопросом на вопрос ответил Быстров. – Если ты такой смелый и можешь положить на стол партийный билет – нарушай. Я, извини, не такой смелый и рисковать партийным билетом не буду. Раз решила советская власть, не нам менять ее решения.

– Кого же мы вышлем? – беспомощно проговорил Иван Андреевич, держа в руках разнарядку.

– Ну-у, Иван Андреевич, – успокоил его Быстров, – была бы бумага, а найти кого выслать – найдем! Это уж нам с тобой решать совместно с активом и беднотой. А не сможешь – ОГПУ поможет! Самых зlostных вышлем, другие сами побегут в колхоз, – уверенно говорил уполномоченный. – И еще хочу добавить, товарищ председатель, что при создании колхозного поля земли частных, попавшие в общее поле, будем изымать! Им дадим взамен на отшибе, – усмехнулся Быстров и добавил: – Если, конечно, такие найдутся. Но наша с тобой позиция в этом вопросе должна быть единой и твердой.

Марченко вспотел:

– Что же мы силком тащить будем, которые не идут? – растерянно спросил он и машинально посмотрел в окно.

По улице шел Лаврентий Жамов. Председатель потянулся к окну и постучал согнутым пальцем в раму. Лаврентий остановился и, увидев в окне Ивана, машущего рукой, удивленно посмотрел на председателя.

Тот продолжал энергично махать рукой.

Лаврентий пожал плечами и пошел на зов. Только сердце почему-то заныло от недоброго предчувствия.

– Вот давай его и спросим, почему он не идет в колхоз?! – повернулся Марченко к уполномоченному.

– Давай спросим!

– Здоровы были! – угрюмо проговорил вошедший Жамов, стаскивая с головы меховую шапку.

– Садись, Лаврентий Васильевич, поговорить надоть! – сказал Марченко и показал рукой на скамейку, стоящую вдоль стены.

– Ниче, не велик барин, постою. О чем говорить-то?

– Да есть о чем! Например, почему ты, красный партизан, не желаешь вступить в колхоз. А? Вот ты сам и обскажи товарищу уполномоченному из района.

Лаврентий поднял глаза на сидящего за столом человека. «Как поросенок – белобрысый», – отметил он про себя.

Быстров с интересом разглядывал вошедшего, его подбористую сильную фигуру.

Лаврентий тоже не сводил глаз, продолжая упорно смотреть в лицо уполномоченному, тот не выдержал и отвел взгляд. Жамов криво усмехнулся:

– А че мне с ем говорить. Не его землю обобщисляют, а мою.

Не ему скотину со двора вести, а мне. Не его зерно из амбара выгребают, а мое! Пусть он влезет в мою шкуру, тогда мы с ем поговорим.

– Ишь ты, как поворачиваешь! – зло вспыхнул уполномоченный. – Значит, тебя советская власть обижает, что хочет всех нас вывести на светлую дорогу.

– А мы, товарищ хороший, не бараны, чтобы нас вести. Промежду прочим... Мы не желаем...

– Говори за себя! – грубо перебил его уполномоченный. – А мы не желаем, чтобы ты, товарищ Жамов, и тебе подобные становились на пути советской власти.

Быстров встал с табуретки. На лице у него выступили красные пятна, особенно сильно они налились над светлыми бровями, точно у токующего весеннего петуха-тетерева. Размахивая пальцем перед лицом Лаврентия, он продолжал говорить:

– Советская власть не позволит вам, слышите, Жамов, не позволит стоять на ее пути. Во-о-т когда в вас заговорила кулацкая, частнособственническая сущность. И мы выбьем ее из вас, слышите!..

У Лаврентия от бешенства похолодело все внутри и затряслись губы:

– Ты мне пальчиком под носом не маши и в харю советской властью не тычь! Не тычь, гражданин хороший. Ты еще сопляком паршивым был, под стол пешком ходил, когда я за

нее кровь свою проливал! – он трясущимися руками торопливо расстегнул телогрейку, рванул косоворотку, так что посыпались на пол пуговицы, и обнажил грудь, густо заросшую темным волосом. Выше левого соска синел небольшой шрам.

– Ты шрамом не очень-то козырай, Лаврентий, – поддержал уполномоченного председатель сельсовета и примирительно добавил: – Никто тебя силой в колхоз не потащит, а землю твою заберем, так взамен дадим другую – на отшибе; чтоб, значит, она не мешала общему полю.

– Т-а-к! – глухо проговорил Жамов. – Не путайся под ногами, Лаврентий, иди, значит, на отшиб! Ну, спасибо, сродственничек, спасибо... Не отдам, слышь, не отдам! Хоть стреляйте! – Жамов с шумом втянул в себя воздух. – Я свою бабу так не холил, как ее!

– Ты нас не пугай, Жамов, – сухо, уверенный в собственной силе и непогрешимости, проговорил Быстров и жестко добавил: – Если понадобится, мы тебя спрашивать не будем и срывать план района по коллективизации не позволим.

Лаврентий посмотрел на молодое районное начальство и горько усмехнулся:

– Спасибо и на том, товарищ, друг, начальник, извиняй меня, темного, не знаю, как тебя назвать. Спасибо, что разъяснил, все понятно, яснее некуда! – он повернулся и пошел к выходу. Уже прикрывая дверь, Лаврентий не сдержался и хлопбыстнул ею так, точно это она была во всем виновата.

– По-моему, одна семья уже есть, – все так же сухо и равнодушно проговорил уполномоченный и пытливо посмотрел на председателя. – Как думаешь, Иван Андреевич?

У Марченко вспотели ладони и неровными толчками забилося сердце. Он глубоко вздохнул и промолчал...

Лаврентий вышел из сельсовета и пошел прямо по лужам посреди улицы, ничего не видя перед собой. Он ничего не понимал. И ему вдруг стало страшно, по-настоящему страшно. Он физически чувствовал, как его вяжут по рукам и ногам, прикрываясь советской властью. Куда бы он ни ткнулся, куда бы ни шагнул, его, как слепого кутенка, тычут носом: ты против советской власти, ты против народа... «Да я-то кто?.. Как я против власти, я же сам ее завоевывал?!» Ни-и-чего не понимал Лаврентий. Обида и злость захлестнули мужика и невольно связывались у него с молодым уполномоченным из района.

«Сопляк, паршивый сопляк! – с остервенением повторил про себя Лаврентий, а в голове безостановочно билась безответная мысль: – Как же так: мужика сгонять с земли?..»

Он остановился. За огородами, которые упирались в крутой берег Иртыша, виднелись на посеревшем льду большие разводья темной воды. Далеко на горизонте плавилась багровым светом узкая полоска зари, придавленная сверху плотными черными облаками. Она ярко высвечивала на речном берегу две человеческие фигуры. Лаврентий пригляделся и узнал в одной из них свою дочь Настю, в другой – Ивана Кужелева. Одинокие, они стояли тесно прижавшись друг к другу.

Горечь и обида, переполнявшая Лаврентия, перекинулась на дочь:

– Тьфу, прости Господи! – он с досадой сплюнул себе под ноги. – Льнет к парню на виду у всей деревни. Ишо не хватало мне сураза в дом, – пробормотал Лаврентий и громко, нетерпеливо закричал: – Настя, домой!

Фигуры встрепенулись и отпрянули друг от друга.

– Щас приду! – отозвался высокий девичий голос. Настя с сожалением и неохотой отстранилась от Ивана. Девчонка была хороша: среднего росточка, статная, полногрудая, с выбившимися из-под цветастого полушалка русыми волосами, концы которых слегка завивались на висках и отливали рыжей подпалиной, с румянцем во всю щеку. Ее совсем не портил отцовский нос, чуть длинноватый, с маленькой горбинкой. Черные вразлет брови оттеняли большие лучистые глаза. Парень снова потянулся к девушке.

– Подожди, Иван! – Настя покосилась на одинокую фигуру отца, маячившую среди улицы, недовольная гримаса пробежала по ее лицу. – Делать нечего, ходит подсматривает!

Характером Настя была тоже в отца, крутая и прямая. Она взяла Ивана за руку и потянула к тропинке, ведущей вниз с крутояра на берег реки. Спустившись на крупный галечник, уже чистый от снега, она подошла к воде. Широкая закраина отделяла ее от всплывшего льда, покрытого рыхлым потемневшим снегом, изъеденным талой водой. Настя жадно вдохнула сырой пряный воздух, ее тонкие ноздри затрепетали:

– Весна! – проговорила, зажмурившись, девушка. – Вот и пережили зиму, – она тихо и радостно засмеялась.

Иван взял Настю за плечи и повернул к себе. Он видел только большие зовущие глаза, широкий выразительный рот с припухлыми, растянутыми в мечтательной полуулыбке губами. Иван властно запрокинул девушке голову назад и прильнул к ее губам. Настя встрепенулась всем телом и замерла, подчиняясь неукротимой мужской силе. Рука парня судорожно растегивала жакетку, ища девичью грудь... Настя со стоном отстранилась от парня и, переведя дыхание, лукаво улыбнулась:

– Ты, паря, погоди баловать. Ишь расхозяйничался!

– Настя, Настя, ну чего ты! – нетерпеливо, горячим шепотом твердил Иван и снова потянулся к девушке. Настя, улыбаясь, отстранилась:

– Не время еще, Иван Трифонович. Когда придет время, тогда и хозяйничай, слова не скажу.

Обидевшись, Иван отвернулся от Насти. Девушка прижалась к парню, ворошила густые русые волосы его, заглядывала ему в глаза. Иван рассмеялся. Страсть улеглась, остуженная свежим вечерним ветром. Он нежно прижал Настю к себе:

– Ох и заживем мы, Настя, как никто еще не жил до нас! – говорил счастливый жених.

– Ну уж! – подзадоривала невеста и тихо смеялась грудным приятным голосом.

– Дом построим... – слегка прижмурив глаза, мечтал Кужелев.

– Детей нарожаем! – подхватила Настя.

– Детей нарожаем! – согласился Иван. Немного помолчав, он задумчиво продолжил: – В колхозе, я думаю, будет хорошо. Машины, трактора... Понимаешь, Настя, мы ими всю землю перевернем, все перепашем.

– Боюсь я, Ваня, колхоза. Да и зачем всю землю перепашивать?

– Наслушалась отца и поешь с его голоса! – недовольно проговорил Иван.

Настя испуганно вздрогнула.

Почувствовав свою вину, Иван нежно привлек к себе девушку и, смягчив голос, перевел разговор на будущую совместную жизнь.

До глубокой ночи стояли так молодые.

Они еще не знали, что готовит им тридцать первый год...

Проклинаая всех и вся, Лаврентий вошел в ограду собственного дома. Аккуратно прикрыл за собой резную калитку и привычно оглядел просторный двор, высокий дом с шестью окнами и веселыми бело-голубыми наличниками, крыльцо о четырех приступках с резными столбиками по краям, подпирающими тесовый навес.

По карнизу дома прибита затейливая кружевная вязь, вырезанная из сухих кедровых досок. Она тепло золотилась в багровом свете зари. Приземистый и крепкий амбар, стоящий в углу двора, с широкими воротами и низким пологим крыльцом, по которому можно было подкатить груженую телегу прямо к сусеку; такой же крепкий и рубленый просторный пригон для скотины с высоким сеновалом. Лаврентий любил смотреть на свой дом, но сегодня ничто не радовало его. Жамов поднялся на крыльцо и вытер о тряпку мокрые и грязные ичиги.

Анна, жена Лаврентия, уже зажгла керосиновую лампу-десятилинейку, висевшую над столом. Она сидела около стола, накрытого к ужину, и пытливо смотрела на мужа.

– Я вас долго ждать буду? Сначала робят накормила, щас тебя, потом Настю.

Лаврентий не удостоил ответом жену. Он повесил шапку на гвоздь, вбитый в стену, разделся и, сев на лавку, стал развязывать сыромятные ремешки на ичигах. Отсыревшие ремешки не поддавались, и он с остервенением рвал концы.

Анна с беспокойством смотрела на мужа, внимательно следя за его резкими угловатыми движениями, на хмурое, сосредоточенное лицо. Наконец он снял ичиги и откинулся спиной к стене. Воздух хорошо протопленной избы приятно обволакивал теплом. Лаврентий вздохнул и, шлепая босыми ногами по крашеным половицам, прошел к столу:

– Жди, жди дочку-то. Она вон, бесстыжая, на берегу к парню липнет. Вот принесет в подоле!

– Типун тебе на язык, на родную дочь такое говорить! – Анна вздохнула и с сожалением проговорила: – Выросла... Ее на полати щас не загонишь, как Васятку с Танькой. У нее щас своя жизнь начинается...

Лаврентий молча сидел на лавке около стола, погруженный в свои мысли. В зыбке, подвешенной к потолку около хозяйской кровати, заворочался ребенок.

– Ись будешь?

– Не хочу!

Анна вздохнула, подошла к зыбке и вынула из нее ребенка.

Он тарасил глаза на желтый огонек лампы, обильно пускал слюни и упруго сучил ножками и ручками.

– Что воюешь, Петр Лаврентьевич? Ись захотел, мой малюсенький...

Ребенок гулькал, улыбался матери, показывая прорезавшиеся зубки. Она приподняла ребенка, поцеловала его в пухлый животик и села на кровать.

– Вот какие у нас зубки. Беленькие да острые, – ворковала Анна. – Давай поедим, Петр Лаврентьевич, поедим! Вишь, мамка кака плохая – забыла совсем про мальчишечку! – Она расстегнула кофту, освобождая большую грудь с темным оттянутым соском.

Ребенок жадно вцепился в сосок зубками, тиская грудь ручонками.

– Не кусайся, не кусайся, поросенок! Зубки зачем тебе – мамкину титьку кусать, а? – улыбалась Анна, морщась от боли.

Лаврентий с удовольствием смотрел на белотелую жену, на ее курносый нос, добрую ласковую улыбку, на густые волосы, туго стянутые узлом на затылке. И у мужика постепенно теплело в груди.

Поздним вечером, лежа в постели, Лаврентий закинул руки за голову. А мысли, тягучие, безрадостные, все роились и роились в голове.

Анна жарко придвинулась к мужу.

– Че случилось-то?

– Да так, ничего, мать, – буркнул Лаврентий. – В колхоз, как барана, гонят. В рот бы им дышло...

– Кто?

– Есть кому, умников много... Возьми, сродственничек мой да энтот сопляк, который седни в сельсовет приехал – уполномоченный из района. Ты, грит, поперек путя советской власти стоишь. Это я-то! – вновь задохнулся от нахлынувшей обиды Лаврентий.

Анна прильнула к мужу всем телом, легонько ворошила рукой его густые перепутанные волосы.

Лаврентий расцепил руки, повернулся к жене и нежно прижал ее к себе.

– Че они у тебя, железные, че ли? – охнула она и тихо рассмеялась. – Никак к твоей ласке привыкнуть не могу!

А Лаврентий продолжал гладить жену, чувствуя ладонями упругие бедра, туго налитую грудь. Словно хотел потопить в ласках жены и своих собственных тревогу, спрятаться от

житейской бури, которая зашумела нынче весной по сибирским деревням. Он нетерпеливо навалился на Анну.

В это время заворочался в зыбке ребенок. Анна дернулась, но Лаврентий крепко держал ее в своих объятиях.

– погоди, отец, – зашептала в ухо Анна. – Дай успокою Петьку. Ишо успеешь пузо сделать. И так пустая не хожу! – тихо смеялась она.

Раздвинув ситцевые шторы полога, которые огораживали хозяйскую кровать, она встала с постели и подошла к зыбке. Ребенок сразу успокоился.

– Ну вот и все! – Анна задернула шторы полога и провалилась в горячие объятия.

Опомнившись, они тихо лежали рядом. Анна, испуганная этой неистовой страстью, которая вдруг вспыхнула между ними, с суеверным трепетом проговорила:

– Ой, отец, не к добру это. Чувствую – не к добру! – и она неожиданно заплакала, прильнув щекой к волосатой груди мужа. Лаврентий гладил рассыпавшиеся волосы жены:

– Будя, дурочка, реветь! – вполголоса успокаивал он Анну. И неожиданно для себя, с каким-то внутренним облегчением, в одночасье принятым решением, твердо и уверенно проговорил: – Проживем, мать, проживем!.. К брательнику в Кемерово уеду. Устроюсь, вас заберу к себе. Ликсандра Щетинин уехал неделю назад, и я уеду!

– Че ты надумал, отец, куды мы с таким хвостом! – тихо запричитала Анна.

– Цыц! Прижмет, дак и хвост подымешь! – и с неожиданной горечью закончил: – Пропади оно все пропадом: и земля, и скот, и хозяйство вместе с уполномоченным... Пусть хозяйствуют, как хотят.

На следующий день Лаврентий уехать не смог, задержали хозяйственные дела, а ночью, в глухую темень, грохнуло на реке: начался ледоход.

Глава 3

Совещание в сельсовете закончилось поздно вечером. Разошлись уже в густых сумерках. Первыми сбежали с крыльца Иван с Романом Голубевым и Димка Трифонов. Дружки, не задерживаясь, молча разошлись, даже не попрощавшись друг с другом. Около первого проулка Димка и Роман свернули, и Иван остался один на пустынной улице. Кое-где в избах уже светились оранжевым светом окна, подсвеченные изнутри керосиновыми лампами. Казалось, сам воздух густо пропитан тревогой: собаки, и те взирали редко и осторожно с визгливым подвывом и тут же замолкали. Ни конского всхрапывания, ни коровьего мычания – деревня затаилась. Иван постоял еще немного в одиночестве и зашагал к дому.

Дома он молча разделся около порога, в шерстяных носках прошел на свою лавку, стоящую в простенке между окнами, и сел на постель.

– Садись ужинать! – проговорила Татьяна, ожидавшая сына из сельсовета. – Щас накрою.

– Не надо, мам, я не хочу! – парень разделся и лег, отвернувшись лицом к стене.

Татьяна посмотрела на его осунувшееся лицо, и тревога, охватившая деревню, вспыхнула в ней с новой силой. Лежа в постели за занавеской, она чутко прислушивалась, как беспокойно ворочался сын. Плохо спал Иван, и совсем не спала эту ночь мать.

«Осподи, – думала она, – прямо с ума посходили люди. Все перевернулось. Лодырь из лодырей, у которого последняя коровенка сдохла во дворе с голодухи, ходит фертом, даже в начальство метит, а работающий, справный мужик – как побитая собака. Осподи, вразуми ты людей!» – Сон совсем не шел. Чем дольше думала, тем больше распалась.

– Это как же так? – спрашивала непонятно у кого женщина. – Я, значит, гони со двора свою корову, мерина, а другие че – драный зипун?

Татьяна сердито заворочалась, стараясь задеть спокойно спящего мужа. Но Трофим даже не пошевелился и продолжал сладко посапывать во сне.

– Вот оглобля! – возмутилась Татьяна. – Спит, зараза, нет заботы ему ни о сыне, ни о хозяйстве.

Она вспомнила дневной разговор с мужем. Татьяна и сейчас, лежа в постели, продолжала спорить с ним.

– Вот она, нынешняя справедливость, Трофим. Мы в общий котел – хозяйство, а Хвостов, значит, – Аграфену толстозадую, которая лишний раз не нагнется, да свои глаза бесстыжие. У него одна забота – где крестины, где поминки, он уже там со своим красным носом. А Долгова возьми... – наступала на Трофима Татьяна. – Куда же вы, мужики, смотрите, а? – вопрошала она у мужа.

Трофим отбивался:

– Власть, она лучше знат, как нам жить! – успокаивал расхажившую жену Трофим. – И не твоего это бабьего ума дело. Дострекочешься, так и тебя в ссылку упекут! – он показал на жамовское подворье. – Умник, трех коней завел, молотилку-пятизубку купил, домину отгрохал!

– Ну и че! – взъерепенилась вдруг Татьяна, заступаясь за Лаврентия. – Он-то лишний раз не присядет вроде тебя. У него все в руках горит.

Трофим недовольно засопел, а Татьяна продолжала наступать, передразнивая мужа:

– Власть есть власть! Она знат, че делать! А коня, небось, поле вспахать у Лаврентия просишь? Ну и просил бы в своем сельсовете, если она власть, пусть и дала бы тебе коня, а?

– Ты че мелешь! – испуганно прикрикнул Трофим, но жену уже было не остановить.

– Какая она власть – одни галифе, подшитые кожей, да пустой портфель. Вот и вся власть твоя и твоего Марченки. Он своего коня сдуру на ноги посадил, теперь всю деревню посадит. Я смотрю, она всяким прохиндеям, лодырям и пьяницам – мать родна, только не нам. Вот

погоди! – злорадно закричала Татьяна. – Пустят они вас по миру, пустят! Расселись в сельсовете, будто никто не знает, че они надумали там. Все-е зна-м! – и уже грустно и как-то удивленно-тихо заговорила: – Ну ладно... Лаврентий Жамов, Александр Щетинин, а Глушаков Ефим чем помешал? Ведь вся деревня знает, что больной – киластый. И тоже на выселки.

– Ты рот-то че на меня раззявила! – смутился Трофим. – Я, что ли, высылаю?!

Татьяна горько и беспомощно улыбнулась:

– Пойдешь на собрание – первый руку подымешь. Уж я-то знаю!

– А ты дак не подымешь?

Татьяна дернулась, точно ее огрели плеткой. Она зло посмотрела на мужа.

– А я не пойду на собрание, не желаю!

– Пойдешь... Куда денешься...

Так и ворочалась на деревянной кровати мать, и в беспокойном сне метался на лавке сын.

Татьяна и Трофим поднялись рано утром, едва забрезжил рассвет. Не проронив ни слова, они занялись каждый своим делом.

Она загремела посудой в кути, готовя завтрак, он быстро обулся и, накинув телогрейку, вышел во двор управиться со скотиной.

Иван встал, когда уже совсем рассвело, только спали еще на полатах два младших брата и сестренка. Он молча поел и стал собираться. Взял хлеб, кусок сала, сняв с гвоздя ружье.

Мать удивленно смотрела на сына и, не выдержав, спросила:

– Ты куда собрался?

– Я, мам, на охоту пойду, дня на три... В нашу избушку на Круглое озеро.

– Через три дня Пасха, куда ты?

– Празднуйте без меня! – Иван хлопнул дверью и быстро сбежал с крылечка.

Деревня Лисий Мыс бурлила. Слухи один нелепее другого переползали из дома в дом. Только сельсовет и местные активисты хранили упорное молчание. Иван Андреевич Марченко сиднем сидел дома, изредка показываясь во дворе. Роман Голубев, Дмитрий Трифонов тоже не выходили на улицу, толкались целыми днями на своем подворье. Даже болтливый Спиридон Хвостов, выставив свое пузичко, просеменит по улице, торопливо поздоровается со встречным и не остановится...

За три дня до майских праздников пришла в деревню Пасха. Утром, как положено, поиграло на восходе солнце и тут же скрылось в тяжелые, плотные тучи. А днем перепилась деревня. Перепилась до безобразия, перепилась так, как не пила даже в свой престольный праздник. Пьяные мужики и бабы бесцельно мотались по улице, роились кучами; вспыхивали скоротечные ссоры и тут же затихали, чтобы вспыхнуть с новой силой в другом месте. То в одном конце деревни, то в другом слышались визгливые бабьи голоса, поющие срамные частушки под расхристанную гармонию.

На поляне около щетининского дома собралась большая толпа. В ней выделялся среднего роста коренастый и плотный мужик: рубаха-косоворотка расстегнута, щеки горят багровым пламенем. Это был Лаврентий Жамов. Около него петушился Дмитрий Долгов, невысокий, легкий на ногу, с клочковатой бородашкой, словно кто нарочно приклеил ему к подбородку кусочек нечесаной льняной кудельки.

Разговор был бурный, страсти накалялись... Дмитрий подпрыгивал, точно кузнечик, тряс перед лицом Лаврентия костистыми кулачками и тонким фальцетом кричал:

– Ты че меня удочкой попрекаешь? Я, может, меньше тебя сплю. Ты походи со мной с самого ранья, поплюхайся в воде, а я посмотрю, – Долгов ожесточенно размахивал руками, казалось, еще мгновение – и он вцепится в густые русые волосы Жамова. – Вам все мало, все хапаете. Вы белого света не видите и дети ваши! А мне ничего не надо. Я сам себе хозяин!

– Оно и видно! – подзадорил кто-то из толпы. – У тебя корова с голодухи хвост у мерина отжевала, а еще че-то выпендривается... Хозяин ср...й!

Толпа хохочет.

Дмитрий оставил реплику без внимания и продолжал, перекрикивая шум толпы:

– Домины поотгрохали! – он неверной рукой махнул в сторону щетининского дома и хрипло рассмеялся. – Почуял, что жареным пахнет, и сбег. Ну, погодите, прижмут вас, прижмут, паучье!

У Лаврентия от бешенства побелели глаза. Он поймал Митьку за ворот рубахи и подтянул его к себе:

– Ах ты, клоп! Ты в этот дом хоть ржавый гвоздь забил? Ты че на чужое рот раззявил? Бери тогда и мою рубаху, я щас тебе ее сам сыму! – Лаврентий рванул свободной рукой на себе косоворотку.

– Задушишь! – захрипел испуганный Долгов.

– Щас я тебе отдам ее. Щас я тебе глотку заткну. Ты у меня наешься досыта!

Дмитрий обвис в руках Жамова. В оцепеневшей толпе раздался испуганный крик:

– Убивают! – и вмиг озверевшие мужики кинулись к сцепившимся Долгову и Жамову.

– Бей! – пьяная орава с перекошенными ртами и безумными глазами навалилась на Жамова.

– А-а! – взревел Лаврентий. Он ворохнул мощными плечами, и мужики, уже успевшие добраться до него, отлетели в стороны.

– А-а, мать вашу!.. – ревел Лаврентий. Он отступил к ограде и одним движением вырвал из нее жердь. – Ну-у! Подходи, кому жисть надоела; подходи, кому нужна моя земля, моя скотина. Подходи!..

Щетининская ограда в мгновение ока была разобрана до последнего кола. На четвереньках, жалобно поскуливая, отползал в сторону Дмитрий Долгов.

Лаврентий поднял жердь над головой и шагнул вперед. Навстречу ему ошетинились кольями и жердями пьяная толпа. Она грозно и глухо ворочалась. И вдруг в безумную хмельную бурю ворвался звонкий женский голос:

– Лаврентий, опомнись!

Расталкивая мужиков, вперед выскочила Анна. Она подняла над головой грудного ребенка.

– Бей, идол здоровый, сначала меня, потом сына! Ну-у-у, бей! – Анна заплакала. Она так и стояла, держа Петьку над головой, а по щекам у нее непрерывно бежали слезы.

Жамов протрезвевшими глазами посмотрел на жену, сына и медленно опустил жердь. Бросив ее под ноги, он сжал голову руками и глухо застонал...

Далеко в степи около большого круглого озера сидел Иван Кужелев. Рядом на кусту висела пара убитых уток. Старенькое ружье прислонено к тонкому ивовому стволу. Он давно сидел на берегу и сосредоточенно смотрел на спокойную гладь озера. Подступавшая ночь окружала его бархатными сумерками, кряканьем и шлепаньем селезней, явившихся в камышовых зарослях, беспрестанно гоняющих своих избранниц; воздухом, наполненным свистом низко пролетающих над головой утиных стай. Где-то недалеко, в березовом околке, азартно чужфыкали токующие тетерева.

Иван ничего не замечал вокруг. Он весь был погружен в себя, в свои размышления. Чувство неосознанной вины давило на него, точно он, Иван, что-то мог сделать и не делал. Эта мысль угнетала, не давала душевного спокойствия. Он в тысячный раз вспоминал слова молодого, уверенного в себе уполномоченного, с чисто житейской рассудительностью прикидывал их и так и этак, пытаясь свести концы с концами, и ничего не получалось. Все вроде правильно, ни к чему не подкопаешься, ни к чему не придерешься. А в памяти назойливо звучали слова уполномоченного, сказанные им на следующий день после приезда в Лисий Мыс:

– Что такое колхоз? Это та же «помочь», товарищи, которая истари заведена в русской деревне. Вот где проявляются достоинства коллективного труда. И только злостные враги

советской власти пытаются и будут пытаться сорвать планы партии по объединению крестьянства в колхозы.

Иван и тут не спорил. Ему ли, деревенскому жителю, не знать силу «помочи». Он хорошо помнил, как год назад была «помочь» в деревне. Ефим Глушаков ставил новый дом взамен старого. С каким наслаждением, душевным подъемом работали люди. Как они весело и беззлобно отстраняли от работы больного Ефима:

– Ты, хозяин, поберегись, не трясись килей. Лучше за жбаном присмотри, чтобы пиво не сбежало.

– Не сбежит! – успокаивал работников счастливый Ефим. Дом рос как на дрожжах. Кто вырубал чашки в бревнах, кто пазил. Лаврентий Жамов тесал потолочные балки. Отец Ивана, Трофим, кантовал стропилины и подстропильные балки, помечая готовые комплекты головешкой. Иван с Александром Щетининым распиливали толстые сосновые сутунки на плахи распашной пилой. Густо сыпались опилки на курчавую бороду и волнистые черные волосы Щетинина, стоящего внизу. Иван сверху, с бревна, которое лежало на высоких козлах, хорошо видел, как азартно работали люди. Ему хотелось беспричинно смеяться и громко петь. Он с удовольствием подчинялся равномерному ритму, заданному Александром: мощными рывками тот тянул пилу вниз, и с особым шиком две пары рук взметали ее снова вверх. Только и слышно было отрывистое хаканье разгоряченных и потных людей, сочное всхлипывание топоров, вгрызавшихся в смолевую твердь, и равномерно-прерывистое шипение пилы.

Но помнилось Ивану и другое... Тут же болтался среди работавших мужиков и Спиридон Хвостов, лез со своими советами. Одни на него не обращали внимания, другие – раздраженно отмахивались, а он переходил от одного работающего к другому. Остановившись около Жамова, Хвостов глубокомысленно заметил:

– Ты больно не торопись. Топор поотложе держи, поотложе, тогда и затесы будут ровнее.

Лаврентий медленно распрямился, поправил на лбу слипшиеся от пота волосы, глянул на советчика и протянул ему топор:

– А ты покажи, как надо!

Хвостов быстро спрятал руки за спину и отступил назад:

– Не могу!

– Это почему? – усмехнулся Лаврентий.

– Потому как власть – секретарь сельсовета. Меня народ выбрал, – гордо задрал подбородок Спиридон.

– А-а, на-а-род! Тогда командуй нами, Спиридон Тимофеевич, учи. Нам ведь хозяйствовать надо, работы полно. А ты уж сиди в сельсовете, протирай штаны! – откровенно издевался Лаврентий.

Мужики бросили работу и прислушивались к разговору. Послышались смешки.

У Хвостова покраснели щеки и зло забегали глаза:

– Хозяйствуй, хозяйствуй, может, дохозяйствуешься.

– А че ты мне сделаешь, гнида с сумкой? – спокойно спросил Лаврентий.

– Я-то ниче, а ты газеты почитай, че в Расее делается. Там уже взяли хозяйничков в оборот. И до нас дойдет... Всех подравняют!

Жамов вытянул ладонью вверх руку с корявыми толстыми пальцами и спросил:

– Это че?

– Рука! – неуверенно проговорил Хвостов.

– А это? – Лаврентий пошевелил толстыми обрубками.

– Пальцы! – хлопал глазами Спиридон.

– Дак вот, Спиридон Тимофеевич, когда на руке будут все пальцы одинаковыми расти, тогда мы с тобой подравняемся. А пока отойди отсель, не то ненароком задену! – Лаврентий взмахнул топором.

Спирька испуганно отскочил и трусцой побежал по улице, злорадно выкрикивая:
– Подравняет, всех подравняет советская власть!

Мужики, поплевав в ладони, молча принялись за работу. Шутки и веселье разом пропали.

...Иван вздрогнул от неожиданности – над головой низко пролетел криковый селезень и с ходу сел на воду в пяти метрах от берега. Настороженно кося взглядом на застывшую фигуру, он медленно потянул в камыши, выставляя напоказ яркий брачный наряд. Парень задумчиво смотрел вслед уплывшей утке...

А голос уполномоченного продолжал звучать в голове:

– Вот партия и поручила мне, опираясь на советскую власть, актив и бедноту, провести коллективизацию в вашей деревне, – он многозначительно обвел глазами присутствующих, задержавшись взглядом на молодых парнях. Спиридон Хвостов, заглядывая в глаза уполномоченному, довольно крикнул. Быстров же продолжал: – Только через коллективные хозяйства мы выведем крестьянство на широкую светлую дорогу. Мы не будем церемониться с теми, кто нам будет мешать.

– Тогда надо всех баб из деревни убрать! – ухмыльнулся Роман Голубев.

– Это почему? – удивленно спросил Быстров.

– Дак все бабы поголовно против колхоза, – вклинился в разговор Марченко. – Ты спроси у ихних матерей, – председатель мотнул подбородком в сторону ребят: – Хотят они или нет?

Во, Аграфена Хвостова, та пойдет. Может быть, Дмитрий Долгов, еще человека три-четыре...

– Моя пойдет! – подхватил Спиридон. – Ей все равно!

– Ей-то, конечно! Иначе с голоду сдохнешь с таким муженьком! – не удержался Кужелев.

– Ты полегче, сосунок! Тоже мне – учит! – огрызнулся Хвостов.

– Будет вам лаяться! – одернул их Иван Марченко. Быстров строго посмотрел на Кужелева и проговорил:

– Не забывайте, при построении колхозов мы должны опираться на бедноту.

– Это на Хвостова, что ли? – снова не удержался Кужелев и ехидно добавил: – Ну, эти махом с кого хошь шубу сымут. Своей-то сроду не было, а тут чужое...

– Ты че мне в морду бедностью тычешь! – взвизгнул Хвостов. Иван спокойно посмотрел на взбешенного мужика и тихо заговорил:

– Ты уж пожилой, а я – сосунок. Меня, сосунка, вся деревня Иваном зовет, а тебя – Спирька. Потому как другого имени ты не заработал. И мне не все равно, с кем в колхозе работать. А ты, поди, в председатели метишь? Чего задом заюлил?

– Товарищ уполномоченный, Алексей Кириллыч, да что это такое! Меня, можно сказать, партийную опору, поносит какой-то сопляк. Да его первого надо раскулачить и сослать. Моя бы воля...

– Руки коротки! – зло заметил Иван.

– Ну, это мы еще посмотрим, у кого короткие, а у кого длинные, – Хвостов с ненавистью смотрел на Кужелева.

– Хватит вам! – отрешенным голосом заметил председатель сельсовета. – И так всю весну в деревне одна ругань. Уж быстрее бы к одному концу...

Быстров прихлопнул волосатой рукой по столешнице:

– Ну вот, мы, кажется, подошли к тому вопросу, ради которого собрались здесь. Мы тут с Иваном Андреевичем посоветовались до вашего прихода и наметили три семьи. Теперь хотим узнать и ваше мнение.

Присутствующие опустили головы. Быстров неопределенно хмыкнул, взял в руки листок бумаги с написанными фамилиями, зачитал:

– Жамов Лаврентий Васильевич, Щетинин Александр Дмитриевич, Глушаков Ефим Ефимович...

Хоть и готов был Иван к худшему, но к таким сообщениям, видать, не подготовишься. Ровный монотонный голос Быстрова как обухом ударил парня по голове. У Кужелева зазвенело в ушах.

Он уже плохо слышал, как Роман Голубев удивленно спросил: «Почему три?» – и ответ уполномоченного:

– У нас разнарядка. Нарушать ее мы не имеем права, – Быстров посмотрел на Романа бесцветными глазами: – У тебя что? Еще есть кандидатура, давай обсудим.

– Нет, нет! – испугался Голубев.

– Жаль, товарищи активисты, – с сожалением протянул Быстров и вдруг с каким-то внутренним убеждением и жаром продолжил: – Если бы каждый член партии, каждый сознательный активист выявил хотя бы одного врага народа, представляете... – и он, не закончив мысль, снова повторил: – Жаль!

Все присутствующие проголосовали за предложенный список. Быстров удовлетворенно складывал бумаги в портфель:

– Я считаю, Иван Андреевич, повестка дня подработана. Когда будем проводить общее собрание?

Марченко испуганно втянул голову в плечи и быстро ответил:

– После Пасхи, сразу же, – и тихо добавил: – С похмелья народ будет!

...Иван поднял голову, посмотрел на быстро темнеющее небо и зябко передернул плечами от ночной свежести. Никого не хотелось ни видеть, ни слышать. Забиться бы сейчас в какую-нибудь щель и не высовываться все это время. Да разве от самого себя спрячешься? Он тяжело вздохнул и поднялся на ноги.

«Костер надо развести, холодно стало», – он пошел по берегу озера собирать сушняк для костра. Потом неторопливо и уверенно развел небольшой костер. Осторожно поддерживал слабенькое пламя, подкидывая в него тонкие сухие веточки. Ему неожиданно пришло на ум: «Сегодня же похмельное собрание в деревне было». У него неприятно засосало под ложечкой.

Огонь постепенно набирал силу, и вот уже занялись пламенем толстые сырые ветки. Костру нипочем, он только весело потрескивал, выбрасывая высоко вверх хоровод ярких искр. Иван с интересом смотрел на разгорающееся пламя: «Огонь-то разгорается постепенно, помаленьку, а не враз. Враз-то и потушить недолго».

Иван задумчиво ворошил палкой в костре...

Глава 4

Прошла, отшумела деревенская пьяная Пасха. Спокойно прошли майские праздники. В предчувствии перемен деревня затаилась.

Было сырое, раннее утро. Ночью прошел дождь, и сейчас по небу плыли низкие, взлохмаченные облака. В редких разрывах проглядывало высокое голубое небо. Солнца не было.

Лаврентий стоял на крыльце своего дома и смотрел на сиротливо раскрытые двери пустого пригона. Не слышно в нем ни задумчивого равномерного хрумканья сеном, ни всхрапывания лошадей, ни теплого утробного вздыхания коров, и не струится уже из приоткрытых дверей парное тепло, пахнущее навозом и молоком. Пусто стало на крестьянском дворе, пусто и холодно на душе....

Жамов грузно спустился с крыльца и бесцельно побрел по двору. Наткнувшись на козлы, на которых пилили дрова, он тяжело сел. Вот уже дней десять, как угнали со двора скотину, Лаврентий маялся, слоняясь по двору, не знал, куда приложить свои работающие руки.

«И на улицу не выйдешь! – криво усмехнулся он. – Затаилась деревня. Некоторые, поди, злорадствуют: Лаврентия – на выселки. Другие жалеют!» Эта жалость, а она была, он точно знал, действовала на него больше, чем откровенная злоба и равнодушие других. Она бесила его: «Это меня-то, Жамова, жалеют». У него заходили желваки на щеках. Жалость унижала его до того, что он готов был исчезнуть, превратиться в пылинку, как таракан, забиться в щель, только бы не видеть сострадательных глаз. Или самому раскатать осиное гнездо по бревнышку и стегать, стегать жидким прутом, с потягом, людей, что надсмеялись над ним, над его детьми, отторгнули от себя и не смогли защитить.

Он почти с ненавистью смотрел на высокий добротный заплот, на крыши домов, виднеющиеся за ним, на тесовые ворота с хорошо пригнанной калиткой.

– На хрена вы нужны, если не сберегли хозяина.

Звякнула щеколда на калитке, и в открывшемся проеме появилась Матрена. У видевого брата, сидящего на козлах, она тихо прикрыла калитку и пошла к нему.

– Садись! – пригласил Лаврентий и похлопал ладонью по козлам рядом с собой.

Матрена осторожно присела.

– Спасибо, что зашла! – глухо проговорил Лаврентий. – Теперь уж скоро, поди, может, и совсем не придется увидеться.

У женщины навернулись слезы на глазах. Лаврентий глянул на сестру, и у него защемило сердце. Он прикрыл своей теплой широкой ладонью ее руку:

– Будет, будет! У меня дома этого добра полно!

Матрена сдержала слезы:

– Анна-то как?

– А че Анна, – тихо сказал Лаврентий. – Почернела вся Анна. – И чтобы уйти от этого разговора, спросил: – Иван че говорит? Долго еще нас мурыжить будут?

– Вот я и пришла сказать – бумага из района пришла, чтоб, значит, завтра вас отправляли. Седни описывать придут.

– Пушай идут, быстрее бы уж!

Матрена вдруг припала к брату головой и, не сдерживаясь, заплакала:

– За что людей мучают! – давилась слезами Матрена. – Мой-то говорит – в других деревнях люди по полгода в банях живут, ждут выселки. Нашим, говорит, повезло. Седни опишем – завтра и увезем.

– Быстрее бы уж, – задумчиво проговорил Лаврентий. – К одному уж концу!

– Теперь уж быстро, – заревела громче сестра, все еще прижимаясь заплаканным лицом к брату. – Палнамоченный торопит больно, спасу нет. По бабе, видно, соскучился, уж третью неделю у нас живет. Надоед, как черт!

Жамов гладил прижавшуюся к нему сестру и тихо говорил:

– Один брат у тебя остался, Матрена, и тот непутевый, кулак... Запрятать его куда подале!.. Ниче. Матрена, Бог не выдаст, свинья не съест. Еще посмотрим, чья правда сильнее! – И вдруг с неподдельным интересом спросил: – Кто в колхозе закоперщик?

– А ты че, не знаешь? – Матрена отстранилась от брата и внимательно посмотрела ему в лицо. – Спиридон Хвостов!

– Кто, кто? – переспросил Лаврентий и сразу же добавил: – Это кому такая мысль умная в башку ударила?

– Палнамоченный, Быстров. Ивана, вишь, хотели, дак председателем некого поставить. Вот он и посоветовал. На собрании все и проголосовали. А людям-то кака болячка – лишь бы не самих.

За кого хошь проголосуют.

Лаврентий неожиданно для себя и тем более для Матрены захохотал. Хохотал трудно. Звуки, зарождавшиеся глубоко в груди, с клетотом, с перерывами вырывались наружу. Смех душил его.

– Ну и ну! – только и смог произнести Лаврентий.

Матрена с испугом смотрела на брата, в глазах ее металась тревога. Наконец Лаврентий справился с душившим его смехом и успокоил сестру:

– Ты думаешь, я с ума сошел! Нет, я-то пока не сошел, а вот некоторые – похоже, – он стал рукавом рубашки вытирать набежавшие на глаза слезы. Вытер, с суровой нежностью сказал: – Иди домой, Матрена! Мне все одно не поможешь, а что пришла, проведала брата – спасибо! – он осторожно подтолкнул ее к выходу.

Матрена пошла, а Лаврентий задумчиво смотрел ей вслед, и жалость полоснула его по сердцу. Уже в калитке он окликнул ее:

– Матрена, погоди! Чевой-то сказать еще хотел!

Женщина медленно повернулась к нему. Лаврентий с жалостью смотрел на сестру, потом махнул рукой:

– Ладно, иди!

Глухо звякнула щеколда.

«Домой надо», – подумал Лаврентий и опять надолго застыл на своих козлах. Очнулся только от стука калитки. Во двор вбежал сын Васька. Лицо у мальчишки заплаканное. Он кинулся к отцу и ткнулся ему в колени. Худенькие плечи у мальчишки вздрагивали.

– Ты че сырость-то развел? – улыбнулся Лаврентий.

– Тять, че они дразнятся!

– Кто дразнится? – спросил отец.

– Да Кирька наш кулацким сыном обзывает! Другие тоже.

Лаврентий погладил пушистые волосы сына и медленно проговорил:

– Помнишь, сынок, как я однажды выдрал тебя, когда вы, шалопуты, всей оравой допекали Маньку-дурочку, Богом обиженного человека! Помнишь мои слова?

– Помню!

– Вот то-то, сынок, теперь сам понял! Неправедная обида – самая горькая! Тогда я знал, сынок, за что драл, за кого заступался, а щас – не знаю, кого вдоль спины стежком перетянуть. Всю Расею не перетянешь! А вот она, родимая, перетянула, так перетянула, что даже вас, сопляков, в разные углы раскидала...

Так и сидели отец с сыном на козлах среди пустого разоренного двора.

Описывать имущество пришли после обеда, уже ближе к вечеру. Хоть и ждал Лаврентий незваных гостей на свое подворье, а все как-то не верилось. Думалось, что это кого-то другого касается, а не его. Слишком мучительно было сознавать, что вот так, ни за что ни про что, по чьей-то прихоти ему придется расстаться со своим добром, что заработали они с Анной собственными руками и собственным горбом. Все это казалось ему дурным сном. Вот проснется он сейчас, и кошмар исчезнет, все будет по-старому. Но сон не проходил, а по двору шли люди – Быстров, за ним Иван Марченко, Спиридон Хвостов и Трофим Кужелев. Ершистый, уверенный в себе Лаврентий растерялся. Противный липкий страх опутал. Жамов ничего не мог с собой поделать, не мог подавить в груди холодную дрожь. Испарина выступила у него на висках и ладонях.

Люди по-хозяйски ходили вокруг. Быстров подошел к широким дверям амбара и потрогал рукой большой висячий замок:

– Вот он, символ кулачества, стережет хозяйское добро. Ошиблись, гражданин Жамов, советская власть решила по-другому. Сейчас нет – мое, сейчас – все наше. Всему народу принадлежит!

Уполномоченный стоял, картинно держась за висячий замок, и говорил убежденно, без тени сомнения:

– Вам известно решение общего собрания? Открывай замок, гражданин Жамов!

Приглушенно, точно из-под воды, Лаврентий воспринимал происходящее. Привалившись спиной к заплоту, он боялся пошевелиться, показать собственную слабость.

– Настя! – позвал он негромко дочь.

Настя сразу же появилась на крыльце, точно все это время ждала отцовского зова.

– Открой им амбар, – слабым голосом попросил Лаврентий.

Настя нырнула в сени и, взяв ключи, быстро сбежала с крыльца.

– Посторонись, сродственничек! – оттолкнула плечом Ивана, с хрустом повернула ключ и распахнула створку ворот.

– Ишь ты, каждый нор свой показывает! – недовольно пробурчал Спиридон.

Девушка молча полоснула глазами по Спиридону, вильнула подолом юбки и убежала в дом.

Трофим проводил взглядом девушку и с сожалением подумал: «Огонь девка! Добрая была бы Ивану жена, а нам с бабкой – невестка».

Быстров вошел в открытые двери амбара, за ним потянулись Марченко и Хвостов. Трофим тоже было тронулся с места, но, подумав, остановился.

Жамов болезненно усмехнулся:

– Че встал? Иди описывай мои богатства.

Кужелев, смолвивший самокрутку из крепчайшего самосада, выплюнул ее и старательно растер сапогом о землю.

– Без меня обойдутся. Вон их сколько.

Между тем уполномоченный подошел к сусеку и, склонившись над ним, запустил руку в тяжелое налитое зерно.

– Вот и семена, председатель, а ты жаловался!

– Доброе зерно! Хе-хе, – подобострастно задрезжал Хвостов.

Он оглядел просторный сухой амбар. Хороший будет колхозный склад! Спиридон перебирал в ладони отборное зерно и, бросив его назад в сусек, предложил: – Я думаю, перевешивать не будем.

Во время посевной сразу и оприходуем!

Комиссия явно чувствовала себя не в своей тарелке. Она торопилась, и предложение Хвостова было принято.

– И половину растащим! – язвительно заметил Кужелев, прислушиваясь к разговору в амбаре, и, словно ища поддержки у Жамова, посмотрел на него. Лаврентий молчал.

– Пойдем теперь в избу, – проговорил показавшийся в открытых дверях амбара Спиридон, за ним вышли остальные. Хвостов по-хозяйски закрыл ворота на замок и положил ключ в карман. Топая сапогами, комиссия прошла мимо Лаврентия и направилась в дом. Впереди мелкими шажками семенил Хвостов, поминутно оглядываясь на Быстрова.

Грохнули двери в сенях, послышался гулкий стук каблуков по крашеным половицам, открылась дверь в избу...

Лаврентий очнулся. Глухо, болезненно в груди билось сердце. Молотом стучала горячая кровь в висках. Откачнувшись от заплота, он медленно пошел к дому, поднялся на крыльцо, вошел в сени. Пересохло в горле, хотелось пить. Лаврентий подошел к кадке, почерпнул полный ковш воды и с жадностью выпил его. Подняв глаза, увидел висящую на стене старенькую «тулку». Машинально снял ее с гвоздя, повертел в руках. Ружье приятно тяжелило руку, холодило ладонь, придавало уверенность. В голове мелькнула шальная мысль. Он повернул голову, прислушиваясь к неразборчивым голосам, доносящимся из-за двери:

«Перестрелять их, что ли?»

Эта сумасбродная мысль дала ему хоть какую-то, пусть призрачную, но власть над сложившимися обстоятельствами и окончательно привела его в себя.

Нет, глупостей он делать не станет...

Покачав ружье в руке, он вдруг вышел на крыльцо и закинул «тулку» на крышу навеса. На душе стало легче. Лаврентий спустился во двор и снова уселся на козлы.

Наконец показалась на крыльце и комиссия. Впереди вышагивал Хвостов.

– В жамовском доме сделаем колхозную контору, – донесся дребезжащий голос Спиридона. Лаврентий глядел на него, на толстый живот, нависший на туго затянутый ремень, поддерживающий пузырящиеся на коленях штаны, на мясистые щеки и красный маленький нос, на бегающие глазки, жидкие, давно не стриженные косички волос и внутренне содрогался.

«Ничего не понимаю!» – выразительно говорили его глаза.

Быстров остановился около Лаврентия.

– Завтра утром со всей семьей – к сельсовету. С собой брать вещей не более пятидесяти килограммов. Это указание из района.

– Я на чем – на горбу семью потащу? – насмешливо ответил овладевший собой Жамов.

– Пошто на горбу? – услужливо вклинился Хвостов. – Можешь взять своо мерина, телегу на колхозном дворе. Трофим все даст, он у нас конюх. Отвезем, Лаврентий Васильевич, поможем!

– Уж помоги, Спиридон Тимофеевич, на том свете зачтется!

– Че выпендриваешься, плакать надо! – осуждающе проговорил Хвостов и заспешил вслед за уходящей комиссией. Жамов крикнул вдогонку:

– Я думаю, Спиридон, мы все еще наплачемся!

Хвостов остановился в проеме калитки и повернулся к Жамову:

– Можить, кто и будет плакать, а я нет. Помнишь, Лаврентий Васильевич, присказку свою насчет пальцев, – Спиридон вытянул руку. – А и правда, пальцы на руке разные, только щас большой палец – я, а ты – мизинец! Я, брат, все помню!

Калитка захлопнулась. Жамов остался сидеть на козлах.

– Госпо-о-ди! Как же так, а? К завтрашнему утру!

Анна сидела, держа на руках ребенка. Петька сучил полными ножонками, что-то гулькал свое, пуская обильные слюни, теребил ручками материнскую кофту. Васька и Танька забились на полати. Они в последнее время вообще боялись матери. Она могла жестоко, зло отхлестать за самую маленькую провинность или, судорожно обняв, иступленно ласкать, обливаясь сле-

зами. Вот и сейчас они, затаившись, испуганно следили за матерью. Анна смотрела перед собой остановившимися глазами. Потом медленно поднялась и глухим голосом сказала:

– Настя, возьми ребенка!

Девушка взяла у матери братишку и положила его в зыбку... Ребенок пронзительно, требовательно закричал. Анна болезненно сморщилась.

– Оспо-о-ди, да куда же я с такой оравой! – у женщины бессильно опустились руки. – Настя, да уйми же ты его, наконец! – и, словно проснувшись, заметалась по избе, натываясь на стол, на лавки, стоящие вдоль стены, на печку; хватала первые попавшиеся под руку вещи, посуду, тут же бросала их и хваталась за другие.

Ее длинные волосы распустились, кофта выбилась из-за пояса юбки. Она подбежала к постели и стала сворачивать перину, попробовала поднять тяжелый тюк и бессильно упала на него. Женские плечи мелко-мелко тряслись.

Настя подошла к матери и припала головой к ее спине.

– Мамка, не убивайся так сильно. Молоко присохнет, чем Петьку кормить будешь?!

Анна быстро приподнялась и прижала дочь к себе.

– Доченька! Откажись от нас, откажись. Выходи замуж за Кужелева. Выходи за него, активист же он – можить, не тронут, – бессвязно бормотала Анна. – Люди же они!

Настя отшатнулась от матери, у нее похолодело внутри. Девушка невольно оглядела просторную родительскую избу, большую теплую печь, полати, на которых затаились сейчас брат и сестренка. С семейной фотографии, висящей против нее на стене, строго смотрел бородатый отец. Он сидел на стуле, чуть расставив ноги, обутые в хромовые сапоги с высокими голенищами. Сзади, опираясь правой рукой о его плечо, стояла молодая и красивая мать.

На коленях у отца сидит маленькая девчушка, у которой немного смазано лицо. Это она, Настя.

Настя прижалась к матери еще крепче:

– Ты че, мамка! – испуганно проговорила девушка. – Как я откажусь от отца с матерью, ты подумай, о чем говоришь! – она оцепенела от накатившего на нее ужаса. Кругом родные стены, которые совсем не защищают, и тишина. Безжалостная и равнодушная тишина. Девушка зябко повела плечами: «Как пусто и холодно дома», – безучастно думала она. Затем, взяв себя в руки, поднялась с постели и с подчеркнутым спокойствием проговорила:

– Давай, мамка, собираться. Завтра времени у нас уже не будет.

В этой стеклянной бездушной тишине все еще слышался одинокий, постепенно затихающий плач ребенка. Поднялась и Анна, подошла к зыбке.

– Где же отец? Куда он провалился? – раздраженно проговорила Анна.

– Перестань, мам! Придет тятя, куда он денется, – осадил ее Настя.

Анна только тяжело вздохнула в ответ и ничего не возразила дочери.

«Ишь ты, большой палец выискался! – возмущенно думал Лаврентий. – Еще посмотрим, кто из нас большой, а кто – мизинец!»

Он поднял голову и, прислушиваясь к детскому плачу, поморщился.

– Ребенка успокоить не могут! – пробурчал он и поднялся с козел. – Хошь не хошь, а домой идти надо!

Зайдя в избу, Лаврентий остановился. Непричесанная, растрепанная Анна склонилась над зыбкой. Среди раскиданных вещей стояла Настя. Лаврентий тяжело опустился на лавку. Глядя на развороченную комнату, он почему-то подумал: «Как же Акулина Щетинина – одна? Ликсандра-то нет!» Он зябко передернул плечами, посмотрел на Настю и сказал:

– Иди-ка, дочь, к Щетининым, помоги Акулине! Мы тут с матерью сами управимся...

И снова было сырое пасмурное утро. И снова низко и медленно плыли над степью взлохмаченные тучи. И все ждало солнца: истосковавшаяся, переполненная влагой земля, белоствольные березы, тянущие тонкие ветки, усыпанные толстыми сережками, беспокойно кри-

чащее воронье. И солнце-то было рядом, здесь, за облаками, но не было сильного ветра, способного разогнать низкие ленивые тучи.

Постепенно к сельсовету стали съезжаться семьи. Первым подъехал Ефим Глушаков. Он шел рядом с телегой, в которую была запряжена вороная кобыла с еще не вылинявшей зимней шерстью, неряшливыми ключьями висевшей на ее боках. На высоком возу сидела старуха Марфа, мать Ефима. За задок телеги держалась Мария. Им с Ефимом было проще: у них не было детей. Следом за Ефимом подъехала телега Щетининых, которой управляла Настя Жамова. На возу сидела Акулина с грудным ребенком. За телегу держались двое ребят: старшая – Клава и помладше – Федька. Рот у Акулины плотно сжат. На лице, казалось, жили одни сухо блестящие глаза.

Наконец показалась тяжело груженная телега Жамовых. Лаврентий погонял ременными вожжами рослого бурого мерина. Лошадь с трудом везла воз по раскисшей деревенской улице. Анна несла на руках грудного младенца. Рядом с матерью шла двенадцатилетняя Танька, а на возу сидел восьмилетний Васятка.

Помаленьку, потихоньку к сельсоветскому крыльцу собралась вся деревня. Никто из жителей не остался дома. Даже древний Нефед стоял около крыльца, в неизменных валенках, подшитых кожей, в старом облезлом полушубке. Он строго смотрел на роящуюся толпу подслеповатыми слезящимися глазами, опираясь на палку, отполированную за долгие годы до блеска. Старик стоял с непокрытой головой. Седые, невесомо-пушистые волосы серебряным нимбом обрамляли его голову.

На верхней ступеньке крыльца стоял председатель сельсовета Иван Андреевич Марченко. На нем щегольские кавалерийские галифе, из-под кепки-восьмиклинки выбивался густой темный чуб, на ногах добротные яловые сапоги, подбитые железными подковками. При каждом шаге председателя они громко постукивали о листовенничные половицы, и настороженно застывшая толпа невольно вздрагивала от этих сухих, словно револьверные выстрелы, щелчков. Рядом с ним на крыльце стояли уполномоченный Быстров и Спиридон Хвостов. Уполномоченный зябко ежился в своем демисезонном пальто.

– Все собрались? – спросил председатель хриплым от волнения голосом.

– А то не видишь! – не сдержавшись, подковырнул его Лаврентий Жамов.

– Ну, ты! – не нашелся, что ответить, Иван. – Помолчи лучше!

– Ты рот мне не затыкай, Иван! Если на высылку, так и говорить уже нельзя? – рассвирепел Лаврентий.

Чувствуя неловкость, которая все сильнее его охватывала, Марченко зло покосился на Лаврентия, но ничего не сказал в ответ.

Толпа заворочалась и зароптала. В этом глухом грозном шуме слышались и звонкие детские дисканты, и рокошующие мужские голоса, и бабьи всхлипывания.

Матрена, сестра Лаврентия, со слезами смотрела на брата и Анну. Вертевшийся около нее сын Кирька, ровесник Васятке, вдруг ткнул в грудь двоюродного брата и громко закричал:

– Кулацкий сын, кулацкий сын! – и высунул язык. Васятка весь сжался, на глаза у него навернулись слезы. Он невольно отступил назад и спрятался за мать.

Очнувшаяся Матрена залепила сыну затрещину с такой силой, что тот моментально поперхнулся и сразу, без всякого перехода, заревел:

– Чего дересси! Тятка сам говорил, что дядя Лаврентий кулак!

– Матрена, не трогай ты его! Дите совсем, еще не понимает! – заступилась за мальчишку Анна.

– Я покажу ему дите, я покажу ему кулака! – и она, прижав к себе сына, не сдерживаясь, громко заплакала. Толпа завздыхала, качнулась, словно спелые колосья под напором ветра.

К Лаврентию подошел Дмитрий Долгов. Он невольно переминался с ноги на ногу:

– Слышь, Лаврентий... Ты того, не держи зла на меня. Спяну это я городил. Мне ить и правда ниче не надо, – он грустно смотрел на односельчанина и тихо продолжал: – Это меня в тайгу надо, а тебе, Лаврентий, на земле сидеть надлежит. – Дмитрий полез торопливо в карман, достал тряпицу и подал ее Жамову. – Возьми, пригодится!

Лаврентий развернул тряпицу, в нее было заколото три рыболовных крючка фабричного изготовления: все долговское богатство. У мужика перхватило горло, он сгреб худенького Долгова и крепко прижал к себе.

– Прости и ты меня, Митрий! Я тоже не со зла, – и он горячо зашептал в ухо Долгову: – Слышь, Митька! Я ружье во время описи закинул на крышу, над крыльцом. Так ты заberi его, слышь, заberi, – Лаврентий выпустил из рук Долгова.

Уполномоченный нетерпеливо подтолкнул председателя в бок. Марченко переступил с ноги на ногу, звонко щелкнули железные набойки на его сапогах. Он откашлялся, осматривая толпу, задержав взгляд на активистах Иване Кужелеве, Романе Голубеве и Дмитрие Трифонове. Они стояли отдельной кучкой, в руках у них были старенькие одностволки.

– Готовы? – спросил их председатель.

Ребята потупили глаза и смущенно кивнули головой.

Чтобы быстрее покончить с неприятным делом, Иван Марченко заговорил излишне громко, точно подбадривая себя и обращаясь только к троице молодых парней.

– Советка власть доверяет вам, – он запнулся, подбирая слова, потом махнул рукой и быстро закончил: – В общем, довезете до пристани этих врагов советской власти и сдадите под расписку коменданту али еще кому. И чтоб ни-ни! Поняли?..

– Это братка – враг советкой власти?! – закричала вдруг Матрена. – Это ты вместе с палнамоченным – враги советкой власти. – Она с искаженным от боли лицом подступила вплотную к крыльцу. Толпа выжидательно замерла.

– Прикуси язык, дура! – в бешенстве заорал на жену Иван. Матрена посмотрела на мужа и негромко, но с такой убедительной силой проговорила, что Иван невольно попятился, отступая к двери:

– Иди, умник, запрягай коня!

– Но... но... – забормотал Иван.

– Иди... Кому говорят! – Матрена в упор смотрела на него. – Иди, не зверь же ты! Как Анна и Акулина с грудными-то? Ведь двадцать пять километров без малого... Пред-се-да-тель!

Марченко еще растерянно потоптался на крыльце, зачем-то поправил кепку на голове, посмотрел виновато на уполномоченного и вполголоса проговорил:

– Я сейчас, быстро! – и, чтобы сгладить неловкость, строго сказал, обращаясь к активистам: – Вы там – смотрите с имя поостроже, как бы не сбегли!

– Ага, сбежим, Иван! – не удержался от ехидной реплики Лаврентий. Он поднял голову, поглядел вокруг, на людей, на небо с низко плывущими черными облаками. – Куды сбежишь? Из Сибири в Сибирь! – затем глянул на председателя, торопливо сбегающего с крыльца, и так же тихо, хорошо слышимый в настороженной тишине, сказал ему в спину: – Она ведь и твоя, Иван, Родина. Вместе мы тут с тобой росли. Вместе грязь босиком месили.

Марченко промолчал, только сильнее втянул голову в плечи, точно его неожиданно ударили в спину, и побежал на свое подворье, стоящее через дорогу от сельсовета. Было хорошо видно, как Иван торопливо вывел коня из пригона и суетливо стал запрягать его в ходок. Горячий молодой жеребчик рысью выкатил ходок на улицу.

Матрена забрала вожжи у мужа и стала усаживать невестку:

– Садись, Анна! – затем она позвала щетининских ребятшек: – Садитесь, ребята, в телегу.

Ходок наполнился ребятней. Ефим Глушаков, сухощавый, болезненного вида мужик, стоявший все это время молча, вдруг заговорил:

– Прощайте, люди добрые, не поминайте лихом! – Голос его дрогнул. Затем он снова заговорил, обращаясь почему-то к одному старому Нефеду: – Прощай, дедушка Нефед, прощай, теперь уж, наверное, не свидимся!

Старик разлепил строгие бескровные губы:

– Прощайте, дети! – он поднял дрожащую старческую руку и осенил крестным знамением тронувшийся обоз. – Спаси вас Христос!

Завыли, запричитали бабы.

Глава 5

Из деревни медленно выползал обоз на шести конных подводах. На передней телеге – Иван Кужелев и Роман Голубев. Следом – бурый мерин, рядом с которым сосредоточенно вышагивал Лаврентий Жамов, помахивая свободным концом вожжей. Третьим горячился вороной жеребчик Ивана Марченко. С недетской серьезностью управлял им Васятка Жамов, и только глаза мальчишки выдавали глубоко запрятанную гордость. За Васяткой тянулась телега Акулины Щетининой, рядом с которой шла Настя. Следом – Ефим Глушаков, и замыкала обоз райкомовская повозка с Быстрым и Дмитрием Трифоновым.

Тяжелы раскисшие сибирские дороги. Будто вывернута наизнанку сырая степная земля, вывернуты наизнанку и человеческие души.

Лошади с трудом везут груженные телеги. Голова колонны поравнялась с березовой рощей, и в воздух тучей поднялись грачи и воронье. Черной сетью покрылось пасмурное плачущее небо. И вороний крик – не весенний, жизнеутверждающий, а зловещий, предвещающий неотвратимую беду. Тише вы, вороны-ведуньи, не кличьте беду, не рвите душу, дайте спокойно покинуть родные места.

На высоком возу Ефима Глушакова сидит старуха Марфа. Она с тоской смотрит куда-то за березовую рощу. По дряблым старческим щекам непрерывно бегут светленькие слезинки.

– Осподи, грех-то какой! – сокрушаясь, шептала старуха. —

Не сходила я, старик, к тебе на могилку, не попрощалась с тобой.

Ты уж прости меня! – и она осенила широким размашистым крестом удаляющуюся рощу и небо.

Грузно шагает глубоко задумавшийся Лаврентий. Мохнатая шапка из собачьей шкуры низко надвинута на глаза, голова опущена. Не пробиться сейчас, не достучаться к жамовскому сердцу.

Так же низко опустив голову, шла Настя.

Иван смотрел на девушку и не мог, как бывало раньше, весело окликнуть ее, пригласить к себе на телегу. Не мог он этого сделать, разметала их суровая година в разные стороны, и выросла между ними непреодолимая стена. Только болела грудь у парня, и пухла голова от распирающих ее беспокойных дум. Напарник Роман Голубев тоже молчал, о чем-то глубоко задумавшись.

Чем дальше от деревни, тем лучше становилась степная дорога. Кое-где на высоких местах она уже пылила, но в ложбинах еще не просохла, была вязкой, и колеса тонули в жидкой грязи по самую ступицу. В одной из встретившихся по дороге мочажин воз Ефима Глушакова намертво застрял. Ефим остервенело погонял старого мерина. Тот упирался всеми четырьмя ногами и выгибал от напряжения спину, но не мог сдвинуться с места. Из груди у него вырывался горячий стон.

– Ефим, Ефим, – позвала старуха Марфа, – ты меня сыми с воза, все легче коню будет!

– Куда я тебя сыму – в грязь, что ли! – зло ответил матери Глушаков. Его лицо болезненно искажилось, и он вновь замахнулся палкой.

Подошедший Лаврентий спокойно перехватил палку и откинул ее далеко в сторону.

– Угровишь коня, Ефим! Разве он виноват? – Жамов погладил дрожащие мокрые бока. – Успокойся, дурашка, успокойся! – Под сильной ласковой рукой лошадь успокоилась и доверчиво косила на человека выпуклым фиолетовым глазом.

– Давай, Карька, меняться с тобой местами! – тихо проговорил Лаврентий, распуская супонь на хомуте. Он неторопливо, но споро выпряг лошадь и вывел ее на сухое место. Затем подошел к телеге, связал вместе оглобли ремненным чересседельником, заступил в оглобли и поднял их на уровень груди.

– Понужай, баушка, мерина! – первый раз улыбнулся Жамов и надавил широкой грудью на чересседельник. Телега заскрипела, и спицы колес нехотя повернулись. Низко пригнувшись к земле, Лаврентий медленно переступал мелкими шашками, вытаскивая из грязи воз.

– Ну и силища, мать твою за ногу! – только и мог сказать восхищенный Ефим.

– Ну вот! – перевел дыхание запыхавшийся Жамов. – А ты лошадь бьешь – не жалеешь. Она тварь бессловесная. Это нашего брата можно не жалеть, – и Лаврентий, усмехнувшись, косо поглядел в сторону задней телеги.

Обоз снова двинулся по степи. Иван откинулся спиной в задок ходка, а Роман правил лошадей. Проехав немного, Голубев повернулся к напарнику:

– Тесть-то у тебя, Иван, а? – Роман, подбирая слова, запнулся... – Бычина!

Слова эти больно задели Ивана. Он поморщился и, точно не расслышав друга, встречно спросил:

– Значица, меня на собрание не позвали?

– Не позвали, – односложно подтвердил Роман, несколько не удивившись такому обороту.

– Чтoб обсеки не было... Все продумал, – задумчиво и как-то отрешенно говорил Кужелев. Ему было нестерпимо жаль, что он смалодушничал и ушел из деревни. Хотя и отлично понимал: останься он дома – ничего бы не изменилось. Парня просто бесило, что уполномоченный невольно помог ему объяснить людям свою слабость. Его никто ни о чем не спросил, никто не поинтересовался, а себе не объяснишь. Да и как объяснить собственную подлость? Иван украдкой все поглядывал на Настю, но девушка упорно избегала его взгляда. Лицо у нее было незнакомое и чужое.

– И все руки подняли? – продолжал интересоваться Кужелев у напарника.

– Все, – односложно ответил Голубев.

– Значица, все, – медленно повторил Иван, словно ища разгадку давно мучившего его вопроса.

– Все, понимаешь, все! – неожиданно зло выкрикнул Роман. – А ты, думаешь, был бы другой!

– Да не кричи ты! – поморщился Иван. – Ничего я не думаю!

Роман снизил голос и тихо в упор спросил:

– Ты голый при народе стоял?

– Не приходилось, – усмехнулся Иван.

– Не приходилось, – передразнил его дружок. – А вот мне пришлось! Не знаешь, какой рукой срам прикрыть! И мысля-то одна в башке – быстрее бы все кончилось.

Он резко дернул вожжи, понукая лошадь, и, немного успокоившись, удивленно продолжал:

– Как у овец: куда одна – туда и все! Во-о-н сидит, – Роман мотнул головой в хвост обоза, – опомниться не давал! – и, явно передразнивая Быстрова, иронически захрипел: – Кто – за? Кто – против? И сам же, подлюка, первый руку тянет, а на него глядя, и остальные, язви их в душу! Прямо бараны! – издевался над собой и односельчанами Роман. И обиженно, не то оправдываясь, не то ища дружеской поддержки, закончил: – Ведь так, паря, и на отца с матерью руку подыметь, а? – Неожиданно вспомнив, он вдруг светло и хорошо улыбнулся: – А Митька Долгов не голосовал. Я, грит, язви вас, свое суждение имею! Воздержусь... Вот тебе и Митрий!

Фыркали лошади, скрипели телеги, сумрачно молчали люди. Вдруг высоко в небе мелодично затрубили трубы. Над степью неторопливо плыл журавлиный клин. Иван поднял голову и следил, как медленно растворялись птицы в серой мути майского дня. Голоса их истончались и постепенно гасли, пока не слились с легким шумом гулявшего по степи ветерка. И уже можно было только догадываться, что они где-то там, далеко-далеко. Присмиревшие парни долго высматривали исчезнувшую на горизонте стаю.

Глядя в небо, Роман глухо и медленно проговорил:

– Я думаю, нельзя так, Иван. Нельзя принародно раздевать людей догола. Нехорошо это!

– А как надо?

– Хрен ее знат, как надо! Я только знаю – каждый человек должен один на один принимать решение. Так ведь можно доголосоваться черт знат до чего, вроде нашего собрания. И вроде все правильно!

– Нас с тобой шибко спрашивают! – процедил сквозь зубы Иван.

– Вот то-то и оно, что не спрашивают, – согласился Роман.

А обоз все так же медленно полз по разбитой весенней дороге. На обочине сквозь бурую прошлогоднюю траву, взлохмаченную ветрами, пробивалась нежная зелень, да редкими желтыми пятнами радовали глаза куртинки цветущего одуванчика. Изредка низко над степью пронесется стремительная стайка уток, направляясь на ближнее озерко. Серый день, серое небо, да жалобный скрип тяжело груженных телег.

Из всего унылого каравана только у одного человека все ликovalo в груди. Да, он мог сказать себе: молодец, Быстров. Ты славно поработал в деревне. Это с твоей помощью ликвидированы остатки классовых врагов. Ему есть что доложить руководству района. У него не было и тени сомнения – партия ошибаться не может.

Он внимательно присматривался к обозу: к мужикам, понукавшим усталых лошадей, подросткам, грудным ребятишкам на руках измученных матерей. Нет... Злобы он к этим людям, врагам советской власти, не испытывал, но и жалости к ним не было. Они были за чертой, которая резко отделила их, лишенцев, от остального мира.

День клонился уже к концу, когда обоз втянулся на окраину районного села. Маленькие деревенские дома по обеим сторонам улицы, в палисадниках которых росли еще голые черемухи и кустарник. В воздухе стоял густой аромат распускавшейся смородины. В окнах, зашпешенных цветастыми занавесками, нет-нет да и мелькнет любопытное лицо и сразу же исчезнет. Только ребятишки с мокрыми по колено штанами и красными заветренными руками молчаливо сопровождали телеги, усердно швыряя ногами. Чем ближе подъезжали к центру села, тем длиннее был хвост ребятишек и тем сильнее доносился гул многочисленной толпы.

Вся площадь была запружена народом. Сильный шум, точно волны морского прибоя, непрерывно перекачивался от одного края площади до другого. В живописном беспорядке стояли телеги с поднятыми в небо оглоблями. Привязанные лошади хрумкали сено, изредка пофыркивая и помахивая головами. Слышался женский надрывный голос:

– Петька, Петька, куда же ты, обормот, девался? Иди ко мне, вот я тебе, паршивцу, всыплю!

Ровно, монотонно бубнила площадь мужскими голосами. Видно было: некоторые из толпы уже давно находятся здесь, мало-мальски обустроились, разожгли костры; другие – пришли сюда недавно и только-только распрягли лошадей.

Приехавшие из Лисьего Мыса нерешительно остановили лошадей на краю площади. Роман соскочил с телеги и, взяв лошадь под уздцы, ловко развернулся в этой толчее и подвел упряжку к ходку, в котором сидели уполномоченный и Дмитрий Трифонов. Почти сразу подошел военный в длинной серой шинели, в хромовых сапогах, перепоясанный портупеей с висящей на ней потертой кобурой, из которой торчала ручка револьвера, на голове шапка-кубанка с синим верхом и красными пересекающимися крест-накрест полосами. Прижав руку к кубанке, он представился:

– Комендант Стуков! – и кратко, по-военному, спросил: – Из какой деревни обоз, сколько семей, число людей?

– Из Лисьего Мыса, три семьи! – так же кратко ответил Быстров. Он открыл свой портфель, достал из него лист бумаги и протянул коменданту. – Все переписаны здесь!

– Что так поздно?

– Далеко, – ответил Быстров.

– Сопровождающие? – указал Стуков на парней.

– Сопровождающие, – подтвердил Быстров.

– Комсомольцы? – спросил Стуков у парней.

– Сочувствующие мы, – за всех ответил Иван Кужелев. Комендант внимательно на них посмотрел и проговорил тоном, не терпящим возражения:

– Останьтесь здесь до завтра. Может, понадобится! – он развернул лист бумаги, поданный ему уполномоченным и, пробежав его глазами, аккуратно свернул и сунул куда-то за отворот шинели.

Оглядывая вновь прибывших, Стуков медленно проговорил:

– Ночь проведете здесь, на площади, а завтра – на пристань, грузиться на баржи.

– Это как же здесь?! – возмутилась Акулина Щетинина. – У нас дети грудные!

Стуков равнодушно посмотрел на людей и ровным голосом отрубил:

– Дворцов для врагов народа у нас нет. Перебьетесь и так! – его губы тронула едва заметная усмешка. – Если кто считает, что его семью выслали неправильно, не по закону, может обратиться в комиссию! – И комендант указал рукой на край площади, где за двумя сдвинутыми столами сидело пять человек.

– Это как? – не понял Жамов.

– Очень просто, пиши заявление, комиссия рассмотрит, – все так же загадочно улыбался комендант.

Иван Кужелев подошел к Жамову.

– Дядя Лаврентий, напиши! Ведь партизанил же ты!

Лаврентий посмотрел на Ивана, на душе у мужика потеплело, и он горько произнес:

– Куда писать, Иван! Не нужен я советской власти. Да и куда вернуться. Все описано.

Никто уже назад ниче не возвернет!

Тут вмешалась в разговор Анна:

– Напиши, отец, может, помилуют! – проговорила она с надеждой.

– Меня миловать, мать, не надо. Я за эту власть кровь свою проливал и милости просить у нее не буду. Я не пес шелудивый, чтобы хвостом вилять да в глаза ей заглядывать.

Анна заплакала и прижалась лицом к плечу мужа.

– Ох, Лаврентий... – только и смогла проговорить женщина.

– Как фамилия? – спросил у Быстрова комендант.

– Жамов Лаврентий.

Лаврентий вскинул голову, отстранил жену и процедил сквозь зубы:

– Жамов, я Жамов... ваш бродь!

Лицо Стукова стало медленно багроветь:

– В глаза заглядывать, хвостом вилять! – прохрипел яростно комендант. – Врешь, контра, будешь. Не таких обламывали!

– Это я – контра?!

– Отец, отец! – испугано прильнула к напряженившемуся Лаврентию Анна. – Помолчи Христа ради. Детьми заклинаю тебя.

Жамов обмяк, с трудом проглотив горячий комок в горле. Комендант резко повернулся и пошел к стоящим поодаль милиционерам, а Лаврентий стал распрягать коня, руки у него мелко подрагивали, и он никак не мог ухватить зажатый конец супони.

– Поговорил, значит, с начальством! – вдруг услышал Лаврентий сочувствующий голос. Он поднял голову: недалеко от его воза сидел на телеге мужик с ярко-рыжей бородой и светло-голубыми глазами, с крупными руками, усыпанными веснушками.

– Поговорил, – ответил Лаврентий, внимательно приглядываясь к человеку, но никак не мог вспомнить, где видел собеседника, и с интересом спросил:

– Чьи будете?

– Костоморовские мы, Зеверовы!

– Нет, вроде не знаю! – с сомнением ответил Лаврентий.

– А вы откуда? – спросил рыжий мужик.

– С Лисьего Мыса.

– Тогда, паря, понятно! – улыбнулся Зеверов. – Дядя у меня в Лисьем Мысе живет, старик Нефед. Приходилось бывать у вас в Лисьем Мысе.

– Вот я и смотрю, что где-то видел, а вспомнить не могу! – проговорил Лаврентий, призывая коня к телеге.

– Будем знакомы, – осклабился рыжий мужик. – Прокопием меня зовут, а младшего брата – Николаем!

– Ну, меня слышал, как зовут! – ответил Лаврентий и поинтересовался: – А брательник твой где?

– В комиссию пошел, жалиться, – пояснил Прокопий. – Тут, паря, такое дело, жену заместо батрачки приписали.

– Хреново дело, – посочувствовал собеседнику Лаврентий.

– Куда уж хуже, – согласился Прокопий. Он полез в карман за кисетом, свернул толстую самокрутку и, прикурив, пыхнул густой струей дыма. – Костомарово наше вполовину Лисьего Мыса будет, а разнарядка на две семьи. Была бы зацепка – вот за нас и зацепились, – Зеверов смачно сплюнул под ноги. – Ниче у Кольки не получится!

– У кого-нибудь получилось? – спросил Лаврентий.

– Не слышать. Целый день уже здесь сижу.

Ивана Кужелева неудержимо потянуло посмотреть самому на комиссию. Обходя телеги, проталкиваясь через толпящихся людей, он стал продираться на край площади.

– Иван, куда ты? – окликнул его Роман.

– Погоди, я шас! – отмахнулся от друга Кужелев.

Остановился Иван недалеко от двух столов, сдвинутых вместе. За столами сидело пять человек: четверо мужчин и молоденькая девушка, прилепившаяся сбоку. Перед ней лежала раскрытая тетрадь, около тетради – ученическая ручка и фарфоровая чернильница-непроли-вашка. В центре сидел человек средних лет в военной форме. На петлицах шинели – три кубаря, грудь перетянута портупеей, из-под фуражки выбивались коротко стриженные русые волосы. Холодно и строго поблескивали темно-серые глаза. Иван невольно оробел при виде военного, и у него вдруг мелькнула мысль, что военный и комендант Стуков чем-то похожи друг на друга. Справа сидел милиционер тех же примерно лет в синей шинели и форменной фуражке с красным околышем; слева – двое гражданских, зябко кутавшихся в драповые пальто. Около стола стоял молодой парень в короткой стеганой куртке и в добротн сшитых сапогах. Густые рыжие волосы выбивались из-под кепки-восьмиклинки, на боку у него висела гармонь, которую он неловко придерживал рукой. Рядом с ним стояла молоденькая женщина, голова у нее повязана темной шерстяной шалью, из-под жакетки – длинная, ниже колен, юбка, на ногах – аккуратные ботинки с высокими голяшками, закрывающими наполовину икры ног. На каждой голяшке сбоку пришит длинный ряд мелких кожаных пуговиц.

Молодой парень неловко переступал с ноги на ногу и, слегка заикаясь от волнения, с трудом говорил:

– Так что, гражданин начальник, напраслина все это, зазря нас на высылку.

– Из какой деревни? – поднял голову военный.

– Костомаровские – Зеверов Николай!

– Лена, дай протокол! – попросил председатель.

Девушка перебрала на столе бумаги и подала несколько листов. Тот стал вполголоса читать: «Решением общего собрания деревни Костомарово подлежат раскулачиванию две

семьи – Прокопий Зеверов, Николай Зеверов... В хозяйстве имеют молотилку, сноповязку, три коня». Работник НКВД поднял глаза:

– Прокопий Зеверов – родственник?

– Старший брат.

– Все написано правильно?

– Все, да не все, гражданин начальник. На паях мы купили с брательником молотилку и сноповязку. Опять же без коней в хозяйстве нельзя...

Военный снова уткнулся в бумагу и стал читать дальше. «В хозяйстве держали батрачку Анастасию Чередову». Он поднял голову и неприязненно сказал:

– Вот как, гражданин Зеверов, и батраков держал!

– Каких батраков? – искренне удивился Николай. – Настя, что ли? Так она жена моя!

– Ничего не знаю! – сказал холодно член комиссии, которую народ уже окрестил «пятеркой», – документов о регистрации нет.

Николай беспомощно огляделся, словно призывая в свидетели гудящую площадь:

– Какой документ нужен? Мы с Настей уже целый год вместе живем!

– Да жена я ему, жена! – выкрикнула женщина и густо покраснела.

– Если, гражданка Чередова, вы с ним спали, это еще ничего не значит. Нужна бумага о регистрации. Понимаешь – бумага! – назидательно объявил Чередовой член «пятерки».

– Это почему ничего не значит? – возмутилась Анастасия и перешла в наступление: – Церкви сломали, сельсовета в деревне нет. Мы где возьмем твою бумагу? – плача, она в отчаянии распахнулась и выставила уже явно наметившийся живот. – Это тебе не бумага? Смотри на мою бумагу! – захлебываясь слезами, невнятно кричала женщина. – Если не веришь – я и подол могу поднять! – она быстро нагнулась и стала судорожно ловить край юбки.

– Но-но! – откатнулся от стола работник НКВД, остальные члены комиссии опустили глаза. – Перестаньте хулиганить, гражданка Чередова.

Николай перехватил жену и тихо, с горечью сказал:

– Не позорься, Настя! – он посмотрел на членов комиссии и зло бросил им в лицо: – Их голой жопой не проймешь. Пошли отсель!

– Как же я, Коля, без тебя – с пузом... Где я жить буду? – запричитала Анастасия. Из глаз у нее неудержимо бежали слезы, опухшее лицо болезненно исказилось. – Все описано!

– Проживешь, в бане проживешь, – успокаивал ее Николай. – Из бани, поди, не выгонят. Устроюсь – письмо пришлю. Ко мне приедешь!

Чередова заревела в голос:

– Не вернусь я, Коля, назад! С тобой пойду!

Работник НКВД поморщился и что-то сказал сидящему рядом милиционеру. Тот кивнул головой, повернулся и, поискав глазами, крикнул:

– Широких, убери Чередову!

Пожилой милиционер, коренастый и плотный, с пушистыми буденновскими усами и добрыми глазами, подошел и взял женщину за плечо:

– Пойдем, милая!

Анастасия судорожно вцепилась в Николая:

– Никуда я не пойду, слышите? Везите вместе! И-ро-ды!

– Да куда же ты рвешься, милая! – глухо проговорил милиционер, пытаясь оторвать ее от Николая.

– Пусти меня, пусти! – вырываясь, кричала женщина.

У Зеверова предательски блеснули глаза. Неловко поправляя постоянно съезжавший с плеча ремень от гармонии, он взял женщину за руки и стал с силой отрывать их от себя:

– Настенька, Настя! Ну куда же ты со мной – брюхатая! Кто знат, че там будет. Уезжай, Настя. Ночуй у тетки Варвары и завтра же уезжай! – Наконец Николай оторвал от себя цепкие руки жены и закричал милиционеру: – Да уведи ты ее отсюда!

Широких подхватил ослабевшую вдруг женщину и осторожно повел ее из толпы.

Николай продолжал кричать вслед, точно заклиная ее:

– Уезжай, Настя! Слышишь, уезжай! Уезжай!..

Жизнь на площади шла своим чередом, точно никакой трагедии не произошло. Все так же шумела многоликая толпа. Избавившись от докучливой женщины, о чем-то деловито переговаривалась вполголоса комиссия. Только молоденькая девчушка, по всей вероятности, комсомолка, исполняющая обязанности секретаря, уткнувшись в свои бумаги, сидела не поднимая головы.

«Прав, однако, дядя Лаврентий, ни хрена здесь не добьешься!» – удрученно думал Иван. И такая смута поднялась в душе у деревенского активиста, что ему захотелось упасть на землю и завить по-волчьи – жутко, громко, так, чтобы мороз продрал по коже.

Он удивленно смотрел на спокойно переговаривающуюся «пятерку» и чувствовал, как внутри у него все холодеет перед неумолимой и непонятной силой.

«Что же это такое? – задавал себе вопрос Кужелев. – Значит, будущую светлую жизнь будем строить для себя. А для них?»

Он внимательно глядел на многосотенную толпу – мужиков, баб, стариков, подростков, грудных детей, окруженных вооруженными милиционерами. «Это же только наш район. Хоспо-ди! – внутренне ужаснулся Иван. – А сколько таких районов по Сибири, а по Расее...» У него зашевелились волосы на голове.

Он с болезненным любопытством продолжал смотреть на членов комиссии, пока его внимание не отвлек подошедший к столу комендант Стуков. Около стола комендант остановился и, отдав честь, стал докладывать. Иван прислушался.

– Милиционер Суханов, товарищ капитан, заболел. Так что одного конвойного у меня не хватает.

Председатель комиссии с беспокойством посмотрел на коменданта, затем на сидящего рядом начальника милиции:

– Вот черт, как нарочно! – выругался капитан. – Только этого нам не хватало! Придется Суханова заменить, Семен Ильич.

Начальник милиции отрицательно покачал головой и негромко возразил:

– Нету в отделе никого. Ни одного милиционера не осталось. Посылай меня.

– Вот черт! – снова выругался председатель комиссии и пристально глянул на коменданта. – Симулирует, поди, твой Суханов?

– Чего? – не понял Стуков.

– Приставляется, говорю!

– Никак нет, товарищ капитан, – заверил Стуков. – Живот схватило, в больнице он.

– Что делать будем? – огорченно проговорил капитан. Сидящие за столом беспомощно переглянулись.

Иван ни сейчас, ни потом, когда у него было много времени для раздумья, не мог объяснить свой поступок. Точно кто толкнул его в спину, он подошел к столу и решительно сказал:

– Отправьте меня. Я могу заменить заболевшего милиционера!

– Кто такой? Откуда? – с интересом спросил капитан. Иван не успел ответить, как Стуков быстро сказал:

– Это из деревни Лисий Мыс, товарищ капитан. Конвоир. Их обоз только что пришел. Они самые дальние в районе, – пояснил он.

– Комсомолец? – спросил один из членов комиссии, одетый в гражданское.

– Нет... Активист, – Иван запнулся и добавил виновато: – У нас в деревне нет комсомольской ячейки.

– Это наша недоработка, товарищ, исправим! – улыбнулся гражданский, лицо его сразу подобрело, и он закончил: – Исправимся. Всю молодежь в районе охватим комсомолом!

– Можно вопрос считать решенным? – облегченно вздохнул Семен Ильич и вопросительно посмотрел на председателя.

– Ну что ж, – тоже удовлетворенно заметил капитан. – Забирай в свою команду, Стуков, нового конвоира. – Он посмотрел на Ивана и проговорил: – Желаю успеха, товарищ...

– Кужелев Иван, – быстро подсказал парень. Капитан скупно улыбнулся и снова повторил:

– Желаю успеха, товарищ Кужелев!

Иван стоял в карауле первую половину ночи. Подменить его должен был Илья Степанович Широких, с которым Иван уже успел подружиться. Это был человек с открытым добродушным лицом и крепкими крестьянскими руками. На площади остались только спецпереселенцы, всех провожающих с большим трудом, с криками и слезами, кое-как оттеснили по сторонам. Одни из них ушли к знакомым, другие ночевали прямо здесь, на телегах и под ними, кто как сумел устроиться. Караульные с винтовками ходили по образовавшемуся коридору, строго следили, чтобы люди не перебежали друг к другу. Особенно усердствовал один милиционер – татарин, черный, приземистый, с быстрыми раскосыми глазами, от которых невозможно было спрятаться. Они видели все. То и дело слышался его резкий гортанный голос:

– Уй, шайтан, не подходи!

Наступила ночь. Лагерь помаленьку затихал. На плече у Ивана болталась тяжелая длинная винтовка с трехгранным штыком; она била ему по коленям, но он не замечал этого, а все ходил и ходил по живому коридору. От нечего делать подошел к телеге, на которой спали его деревенские дружки, оставшиеся здесь до завтра, чтобы его проводить. Ему вспомнились слова Романа, когда тот узнал о его решении:

– Ну ты, паря, даешь... Значит, за Настей собрался!

Иван покраснел и недовольно буркнул:

– Ты чепуху не мели, – и уже просительно: – Ты там мамке скажи, чтобы сильно не переживала. Не пропаду!

Роман молча смотрел на друга, и по лицу его было не понять, осуждает он Кужелева или одобряет, а Дмитрий заверил:

– Скажем, скажем, не переживай!

Иван еще потоптался около спящих парней и снова медленно пошел по краю площади до встречи с соседним караульным, тоже молодым милиционером – напарником татарина Вахитова.

До смены еще было далеко. Он безучастно глядел на темное небо, а рядом роптала ночь несмолкаемым глухим шумом мужских голосов, плакала детскими голосами, сонно вскрикивала и хрумкала сеном непрерывно жующих лошадей. Уже ближе к окончанию первой смены разразилась первая майская гроза. Угрожающе гроыхая, она все же сжалась над людьми и прокатилась стороной. Яркие молнии ослепительным светом выхватывали беспорядочный табор на площади и моментально гасли, погружая все в крошечный мрак, разбавленный рубинами тлеющих углей прогоревших с вечера костров.

Иван не заметил, как подошел Илья Степанович. Он вздрогнул от прикосновения милиционера.

– Иди отдыхай, завтра много работы будет! – хриплым со сна голосом проговорил милиционер.

Иван с облегчением пошел к зданию райисполкома, неясно темнеющему на краю площади, где в большой комнате отдыхала конвойная команда. Он лег на широкую лавку, на кото-

рой спал до него Широких, и быстро уснул. Сон был тяжелый, без сновидений. Такой сон не давал отдыха человеку, а скорее выматывал.

Рано утром все конвойные верхом на лошадях окружили площадь. Люди, измученные долгой ночью, с чувством облегчения быстро собирались, запрягали лошадей, складывали пожитки на телеги. Матери шикали на полусонных детей. Конвойные отжимали конями провожающих. Комендант Стуков торопил спецпереселенцев.

– Быстрее, быстрее! – раздраженно покрикивал он. – Сегодня нужно успеть погрузиться на баржи!

И люди, боясь ослушаться, зло кричали друг на друга, торопились.

Незаметно рассвело, только что были предрассветные сумерки, которые смазывали границу небосвода на далеком горизонте, и вдруг сразу стало все видно: и далекие околки в степи, и густые, низко ползущие облака.

Вдруг послышался пронзительный бабий голос:

– Родненькие, да она ж повесилась!

Моментально собралась толпа из провожающих. Женщина, всхлипывая, рассказывала:

– Смотрю – она сидит. Дай, думаю, гляну, а у нее веревка тянется. Меня и обожгло!

Анастасия сидела на земле, привалившись спиной к ограде. Простоволосая голова слегка склонена набок, глаза широко раскрыты, лицо исказила гримаса, похожая на улыбку. От этой дьявольской улыбки мороз продирал по коже. А она сидела и с высоты своей лично приобретенной свободы, казалось, говорила: «Да разве вы люди? Скоты вы бессловесные. Гонят вас на муки, а вы торопитесь, суетитесь. Опомнитесь! Неужели вам смерти моей мало?»

Люди скорбно молчали, глядя на покойницу.

– Настя!.. Настенька!.. – рванулся из толпы, окруженной конвоирами, Николай.

Милиционер Вахитов направил коня на обезумевшего от горя мужика.

– Куда, шайтан! – его узкие глаза налились злобой. Он передернул затвор у винтовки. – Ходи назад, стрелять буду!

Прокопий перехватил брата.

– Стой, застрелит ведь, нехристь поганая. Кому докажешь!

– Сволочи, кровопийцы! – бесновался от горя Николай. Прокопий точно железными тисками обхватил младшего брата.

– Вперед, вперед! – торопил спецпереселенцев Стуков. Затем скомандовал: – Широких, Кужелев – снимите покойницу, Вахитов – в голову колонны. Веди их на пристань!

Остальные конвоиры разобрались по бокам уже наметившейся колонны.

Широких и Кужелев, пробившись через плотную толпу, подъехали к изгороди. Илья Степанович тяжело спрыгнул с коня и подал повод Ивану.

– Подержи коня, – и, неловко шагая онемевшими от долгого сидения в седле ногами, подошел к повешенной. Порылся у себя в карманах и достал складной нож.

– Как, милая, тебе жить-то надоело!.. На такой веревочке повеситься! Это до чего надо человека довести! – тихо говорил пожилой милиционер. Он перерезал тонкую веревку, привязанную за верх столба, и не успевшее еще окоченеть тело мягко повалилось на бок.

Илья Степанович осторожно уложил Настю на землю, сложил руки на груди, прикрыл веки и закрыл лицо шалью, которая лежала рядом с покойницей. Постоял, покачал головой и, повернувшись, тяжело пошел к лошади.

Пристань была в полутора километрах ниже центра. Из провожающих никого близко не подпускали. Погрузка шла весь день и закончилась поздно вечером.

И целый день в отдалении стояли молчаливые люди...

Глава 6

Вторую неделю ползет вниз по реке грузовой пароход с милым и добродушным названием «Дедушка». За ним гуськом, одна за другой, тянутся две баржи: одна – людская, другая – со скотиной. Могучий полноводный Иртыш привольно раскинулся в низких берегах. Ничем не сдерживаемый ветер свободно гулял по широким просторам, разводя высокие, крутобокие волны. Они гнули податливые тальники на залитых половодьем песках, бились о крутояры, свинцовой тяжестью давили на тупой нос баржи. Буксирный трос то натягивался звонкой струной, готовый лопнуть в любое мгновение, то вдруг свободно обвисал, беспорядочно шлепая по воде.

За эти дни Иван с трудом привык к распорядку, установленному комендантом Стуковым. При появлении на речном берегу очередного жилого места дежурившие милиционеры безжалостно сгоняли в трюм баржи находившихся на палубе людей и накрепко задраивали горловину люка крышкой. Пароход, как призрак, крался мимо иртышских деревень. И независимо от времени суток, будь то раннее утро или поздний вечер, на берегу стояли жители, молча провожали глазами проплывающие мимо баржи. Ни возгласа, ни плача – гробовая тишина и на берегу, и на барже. Жесткий распорядок выполнялся неукоснительно; наказание было одно: нарушитель получал вместо шестисот граммов хлеба – триста.

Кужелев стоял на палубе, привалившись спиной к шкиперской каюте. Против него – загорода, которая ограничивала небольшую площадку с люком в трюм. Ограждение и маленькая калитка в ней была сколочена из грубого горбыля. Вдоль ограды от борта к борту медленно ходил Илья Степанович Широких. Сегодня была их смена. Широких подошел к краю баржи и задумчиво смотрел на вздувшуюся свинцовую воду, неутомимые струи которой с легким плеском непрерывно бежали вдоль борта, скатываясь в корму к перу руля, и, срываясь с него, быстро растворялись на речной поверхности.

– Вот и мой, наверное, попал в эту мясорубку! – тихо проговорил пожилой милиционер.

Иван поднял голову и вопросительно посмотрел на напарника:

– Ты про че, Илья Степанович?

– Про то самое! – Широких поправил тыльной стороной ладони отсыревшие усы и посмотрел на Ивана. – Алтайский я – из-под Камня. Слыхал, поди?

– Слыхал.

– Брат у меня там, мать. А писем с Нового года не получал. Вот я и говорю – попал, наверное, брательник в эту мясорубку, – Илья Степанович мотнул головой в сторону приоткрытого люка. Из глубины баржи доносился монотонный гул человеческих голосов, точно это была не баржа, а потревоженный пчелиный улей. – И моих, наверное, в таком трюме везут. – Широких медленно подошел к Ивану и в упор спросил:

– Я вот все хотел узнать, какой черт понес тебя вместе с нами?

– Не знаю! – чистосердечно признался парень. Он смотрел на милиционера, не опуская глаз. – А куда нас вообще, Илья Степанович, несет? Не знаешь?

– Не знаю, – отвел глаза милиционер. – Я человек маленький – у партийных спроси!

Над рекой далеко вокруг разносился рев скотины. Жалобно мычали голодные коровы, слышалось визгливое ржание лошадей.

– Скотина вконец оголодала! – проговорил Широких, глядя на баржу, которая тащилась следом.

На горизонте из-за туч пробился яркий луч солнца, вызолотив на короткое мгновение вершины деревьев на берегу и проложив на темной воде яркий мостик, поиграл на мутном стекле каюты и сразу исчез. Илья Степанович поглядел на запад, обложенный тяжелыми плотными тучами, и сердито буркнул:

– И завтра такая же погода будет!

Хлопнула дверь. Из каюты показался высокий нескладный конвоир Михаил Грязнов, с маленькой головой на длинной тонкой шее с крупным кадыком, который постоянно дергался вверх-вниз, точно милиционер хватил глоток крутого кипятка и теперь, мучаясь, не мог ни проглотить его, ни выплюнуть. Следом за ним вышел Николай Некрасов, угрюмый, с густыми черными бровями, сросшимися над переносицей, и глубоко посаженными мрачно блестящими глазами.

Николай повертел головой, мельком глянув на низкие речные берега, на трюм:

– Все спокойно, Илья Степаныч? Сидят – не высовываются? – спросил он у Широких глуховатым голосом.

– Спокойно, – ответил милиционер. – Кому охота в такую непогоду высовываться!

Вдруг послышался тонкий детский голосок:

– Дяденька милиционер, мы посмотрим на берег?

– Ты гляди, кому-то невтерпех, – оглянулся Широких и улыбнулся. Из трюма торчала детская голова. Васятка Жамов вопросительно смотрел на взрослых, поблескивая живыми любознательными глазами.

Илья Степаныч махнул рукой:

– Вали, братва, пока хозяин не видит!

– Зря поважаешь, – недовольно буркнул Николай.

Широких посмотрел на Николая, покачал головой и тихо сказал:

– Пусть подышат свежим воздухом.

– Ребята, айдате! – крикнул радостно вниз Васятка. На палубу тотчас же вывалило десятка полтора мальчишек и девчонок. Они чинно, стараясь не шуметь, боязливо поглядывая на закрытую дверь каюты, прильнули к неровным щелям забора и с жадным любопытством стали рассматривать медленно плывущий берег. Голые, нераспустившиеся деревья особенно четко и резко выделялись на нежной зелени дружно тронувшейся в рост молодой травы.

Неожиданно налетела стая шумливых чаек. Махая ослепительно белыми крыльями, они беспорядочно вились над баржей, оглашая воздух противными плаксивыми голосами. Ребятишки подняли головы, с завистью наблюдая за свободным полетом птиц. Чайки, покружив над баржей, потеряли к ней интерес и отлетели к противоположному берегу.

Васятка Жамов долго следил за полетом птиц, потом мечтательно проговорил:

– Были бы у меня крылья... улетел бы далеко, далеко...

– А мамка? – спросила Клавка Щетинина.

– Мамку жалко, – с горечью согласился мальчишка.

Илья Степанович, наблюдавший за ребятишками, тихо буркнул:

– Эх, паря, не только тебе, а нам бы всем... и разлетелись бы кто куда! – он повернулся к Ивану. – Пошли отдыхать, завтра – в ночь!

В каюте очень жарко. На раскаленной железной печке слева от входа попискивал чайник. Около квадратного оконца у противоположной стены сидел за столом комендант в галифе и майке и что-то писал в тетради. Справа во всю длину каюты стояли нары, на которых лежали Марат Вахитов и его напарник Костя Востриков, такой же маленький, но только светлый.

Стуков поднял от тетради глаза, пригладил короткий жесткий ерш на голове, крепкой, перевитой синими жилами, рукой и спросил:

– Как дежурство?

– Нормально, – односложно ответил Широких.

– Скотина голодная ревет, – проговорил Иван и посмотрел на коменданта. – Передохнет скотина!

– Не глухой, слышу! – поморщился комендант. Он закрыл тетрадь и убрал ее в полевую сумку. – Я предупредил дежурных, если заметят на берегу прошлогодний стог, чтоб сигнал на пароход дали.

– Скандалу бы не было, – предостерег коменданта Илья Степанович. – Не по закону это.

– Какой закон? – ухмыльнулся Вахитов. – Щас один закон – было ваше, стало наше, а кто не понимает... – татарин выразительно задвигал рукой в воздухе, словно передергивая затвор у винтовки.

– Тебе бы только винтовкой баловать! – зло проговорил Илья Степанович.

– Ты добренький – да? Вахитов – плохой. Широких – хороший, да? – взорвался Марат, его голос сорвался на режущую ухо фистулу.

Пожилой милиционер пристально посмотрел на Вахитова и с сожалением проговорил:

– Не пойму я тебя, Марат, откуда в тебе столько злости к людям. Что они сделали тебе плохого?

– А че они мне хорошего сделали? Че?

– Ну, тогда изгаляйся, раз ничего хорошего не сделали, – устало проговорил Илья Степанович и отвернулся от Марата.

Иван, не обращая внимания на перепалку милиционеров, завалился на свое место на нарах, наслаждаясь теплом, приятно охватившим все замерзшее тело. Он подвинул спящего рядом Вострикова, тот даже не пошевелился.

– Здоров спать! – удивился Иван.

– Оно и лучше, – проговорил Стуков. – Голова меньше болеть будет, а то, я смотрю, у некоторых побаливает!

Широких промолчал и стал укладываться рядом с Кужелевым. На быстрых речных водворотах покачивало баржу, мягко плескалась волна о крутобокие смолевые борта. В каюту приглушенно доносились ритмические удары пароходных колес. Караван засыпал. Не спала только дежурившая смена караульных да старый шкипер Ерофей Кузьмич, который еще стоял на рулевой площадке, слегка придерживая правило руля рукой. Он стоял прислушиваясь к боли в суставах, которые к вечеру сильно разболелись, особенно правое плечо.

– Как собаки грызут, – поморщился старик. Затем, закрепив правило, стал спускаться на палубу. – Поглядывайте тут ночью. Если че – будите, – предупредил шкипер караульных.

– Иди спи, – буркнул в ответ Николай. – Разбудим.

Старик постоял еще немного на палубе, посматривая на кровавый закат, прислушался к затихающему шуму многочисленных голосов в трюме и тяжело вздохнул:

– Погода установиться не может, язви ее, все суставы повывернуло, – непонятно было, кого и за что ругал старик.

Иван проснулся от выстрелов, гулко ударивших раз за разом. Было уже утро... Рядом с ним спали сменившиеся с дежурства Михаил Грязнов и Николай Некрасов. Длинный Грязнов, свернувшись плотным калачиком, спал, укрывшись с головой. Некрасов спал на спине, широко раскинув руки. Воздух с хлипом вырывался из его груди, оттопыривая ему губы, отчего они мелко-мелко подрагивали. За столом пили чай Илья Степанович и Стуков. Комендант, подняв голову, смотрел в квадратный иллюминатор каюты.

– Кажись, сено на берегу заметили? – высказал предположение Илья Степанович.

– Наверное, – согласился Стуков. Он отставил кружку с недопитым чаем, сверху положил на нее кусок недоеденного хлеба и встал из-за стола. – Иди в трюм, Широких, вызывай людей, кто покрепше, – и вдогонку: – Баб тоже – стоять долго не будем! – затем повернулся к Ивану и сказал: – Ты тоже пошевеливайся. Пей чай и выходи! Этих не тронь, пусть спят, – Стуков мотнул головой в сторону спящих и вышел в дверь.

Кужелев быстро обулся и, подсев к столу, стал торопливо пить горячий чай. Когда он вышел из каюты, караван уже причалил к плоскому низкому берегу. Это был пустынный

остров. Откуда-то слышался лай собак. Иван удивился и только сейчас заметил за протокой маленькую деревеньку. Над серыми приземистыми домишками вились жиденькие дымки.

Утро было сырое, пасмурное, но дул теплый ветер. Иван любил такие дни, которые бывали только весной или осенью. Ему приходила в голову мысль, что проснись он после длительного сна, выйди на улицу... и, пожалуй бы, не определил – весна сейчас или осень.

Но такие дни всегда будоражили его, поднимали настроение: столько было в этой пасмурной серости жизнеутверждающей силы, столько заложено неясных желаний, что возникало острое желание жить...

Совсем рядом пыхтел «Дедушка», ткнувшись носом в берег, пуская белые клубы пара. Люди копошились около второй баржи, устанавливая трап. За прогонистым тальником на чистом месте виднелся приземистый стог.

«Хороший стожок, копен пятьдесят-шестьдесят будет», – привычно отметил Иван. Вахитов и Широких стояли около стога, Стуков – на берегу, недалеко от трапа. В толпе спецпереселенцев Кужелев сразу заметил своих односельчан – Лаврентия Жамова, Ефима Глушакова и Настю. Тут же бегали, вырвавшись на свободу, с десятков ребятишек. Среди них были дети Жамова и Клавка Щетинина.

Работа началась. Дюжие мужики Лаврентий и Прокопий Зеверов, подобрав на земле осиновые жердины, подняли их, уперлись в вершину стога и разом надавили. Она нехотя наклонилась и медленно поползла вниз.

Лаврентий подошел к сену и выдернул пучок сухого зеленого разнотравья. Душистый аромат знойного июля пахнул в лицо.

Он закрыл глаза, приняхиваясь к запаху лета.

– Доброе сено... Вовремя накошено, вовремя и убрано, – довольно проговорил мужик.

– Шевелись, шевелись! – нетерпеливо закричал комендант. А мужиков и подгонять не надо. Насильно оторванные от крестьянской работы, они с жадностью набросились на нее. Захватив руками охапку сена, Лаврентий пошел на баржу. Он поднялся на палубу по жидким сходням, гнувшимся под его тяжестью.

– Сюда, родимый, сюда, – радостно суетился пожилой мужик с пегой бородой, показывая на открытую горловину трюма. – Изголодалась скотинешка, прямо душа вся изболела!

– Не мельтеши, лучше вилы дай, способней было бы!

– Ясно дело, способней! – согласился словоохотливый мужик и грустно улыбнулся: – Только нету у меня вил.

Лаврентий шел по краю борта рядом с загоном. Голодные лошади взвизгивали, храпели, пытаясь просунуть голову между досками и дотянуться до сена. Внизу в трюме мычали коровы. Жамов подошел к открытому люку и сбросил сено.

– А где вилы, хозяин? – спросил Лаврентий.

– Хозяин... – усмехнулся мужик. – Вон тот – хозяин – запер их в каюте. И караул поставил. – Он указал на Стукова и Вострикова, ходившего с винтовкой около двери.

– Ишь ты, боится, значит? – проговорил Лаврентий, оглядывая ловкого подбористого мужика, на голове которого была пушистая шапка из рысего меха, на ногах легкие чирки. Из-под шапки на кирпично-красном лице поблескивали серые глаза. Мужик взъерошил свою бороду и подтвердил:

– Выходит, боится!

– Ты сам-то – с северных районов? – Лаврентий с интересом рассматривал собеседника.

– Оттудова!

– То-то я смотрю, шапка на тебе... чирки ловкие, только коней воровать, – улыбнулся Жамов.

– Какой воровать! Этих бы довести...

– Посторонись, земляк, – подошел Прокопий и следом сбросил свою охапку. За Прокопием потянулись другие носильщики.

Иван смотрел на живую цепь людей, деловито снующих от стога до баржи, и ему захотелось встать в этот ряд. Он спрыгнул прямо с борта на плотный утрамбованный волнами песок и пошел в сторону коменданта.

– Смотри за пацанами, – предупредил его Стуков. – Не разбежались бы по кустам – собирай их потом!

– Ладно, – ответил Иван, посматривая за ребятами.

Они бегали около стога. Их звонкие голоса далеко разносились вокруг. Проходивший мимо Лаврентий предупредил сынишку:

– Васятка, смотри, к воде не лезь!

– Не-е, тятя. Мы здесь будем играть, – заверил отца мальчишка. Наконец им надоело бегать, и Васятка деловито предложил:

– Айда, ребзо, помогать сено грузить!

– Не-е, – ответила Танька. – Я боюсь, там доска качается.

– Трусиха... и не доска вовсе, а трап, – поправил ее шустрый братишка.

– Ну и пусть, все равно боюсь.

Васятка пренебрежительно фыркнул, набрал охапку сена и пристроился в конец цепочки за Ефимом Глушаковым. Парнишка смело ступил на сходни и шаг за шагом стал подниматься вверх. Сходни сильно раскачивались в такт шагам впереди идущего Ефима. Мальчик дошел до середины трапа и испуганно остановился, закрыл глаза. Доска, как взбесившийся конь, подбрасывала мальчишку.

– Васька! – пронзительно закричала Танька. – Вернись, в воду упадешь!

Этого крика как раз хватило Васятке, чтобы окончательно потерять равновесие. Он качнулся и молча полетел в воду. Пук сена, судорожно прижатый к груди, как поплавков, поддерживал его на плаву.

Кужелев был недалеко от трапа и теперь заворуженно следил за мальчишкой и не мог сдвинуться с места. Он отчетливо видел, как намокало сено, медленно погружаясь в воду, а вместе с ним погружался и Васятка. Глаза у мальчишки были широко открыты, рот болезненно перекосялся в безмолвном крике. Течение прижимало его к шероховатому борту баржи и, разворачивая, тащило в корму.

– Тятя, тятя, Васька тонет! – пронзительно закричала девчонка. От детского крика Иван сбросил с себя оцепенение. «Затянет же под баржу», – мелькнуло у него в голове. Он бросил винтовку на песок и кинулся в воду. Каленая весенняя вода стальным обручем сдавила грудь, перехватила дыхание. Уже в последний момент он поймал Ваську за воротник телогрейки и вытащил на берег. С них обоих струями бежала вода, хлюпала в сапогах. От нестерпимого холода больно ныли на ногах пальцы.

– Как же тебя, поросенка, угораздило! – выругался Иван, чувствуя, как от холода сжимается все тело. – Да брось ты сено! – он взял из рук мальчишки мокрый пук, который тот все еще судорожно прижимал к себе, и бросил его на землю. По трапу бегом сбежала Настя. Она склонилась над Васяткой и крепко прижала братишку к себе.

– Да как же ты так, Васятка! – взволнованно говорила она, целуя мальчишку. Затем она повернулась к девчонкам и сердито погрозила:

– Вот я вам, дуры здоровые, всыплю на барже! А тебе уж точно... – и она в сердцах ударила сестренку ладонью.

Танька скривилась и, плача, затараторила:

– Он сам, он сам! Мы его не пускали.

Настя отпустила мальчишку и подтолкнула к людской барже.

– Беги к мамке! – и уже ко всем ребятишкам, которые толпились вокруг: – А ну, марш отсюда, чтоб я вас больше не видела! – Те бегом припустили на баржу.

Настя благодарно посмотрела на мокрого Ивана и опустила голову. Иван тоже молча смотрел на девушку. Так, не сказав друг другу ни слова, они разошлись. Настя пошла за очередной порцией сена, а Иван побрел следом за ребятишками на баржу.

Лаврентий стоял на краю баржи и взволнованно смотрел на мокрого сына. Он проводил взглядом убегающих ребят, идущего следом за ними Ивана Кужелева и с досадой ударил кулаком по доскам, из которых были сбиты временные стойла для лошадей. Конь испуганно всхрапнул и шарахнулся в сторону, ударившись о доски, которые угрожающе затрещали.

– Эй, паря, осторожней! – испуганно крикнул скотник. – Ты мне так все стойла разворотись!

Стуков смотрел на Настю, которая, пригнувшись, прижимала к себе мальчишку. Он как-то сразу, неожиданно для себя, мысленно охватил взглядом всю стройную фигуру молодой девушки, ее полные ноги. Его обожгло: «Вот черт, ладная бабенка». – И с этого момента он неотступно преследовал ее взглядом.

Люди все ходили и ходили от стога к барже. В этой непрерывной цепи ходила и Настя, покрасневшая от работы. За ней постоянно наблюдал комендант.

Настя, чувствуя на себе липкий взгляд, старалась быстрее пройти мимо Стукова. Внимание коменданта заметили и другие носильщики. Ходивший следом за девушкой Николай Зеверов зло, сквозь зубы, процедил:

– Кобель, слюни распустил!

От стога осталось одно одонье, а разворошенному сену, казалось, не было конца, оно все теребилось и теребилось, точно это был не стог, а волшебный горшок, который без конца варил кашу. Ненасытный трюм все глотал очередные порции сена. Комендант и особенно Вахитов у стога непрерывно подгоняли людей. Сырой ветер, разгулявшись на речном просторе, весело играл с уставшими людьми, вырывал из ослабевших рук сено, мешал ходить.

Лаврентий остановился около остатков стога, снял шапку, подставляя мокрое от пота лицо сырому ветру, и посмотрел за протоку, где, за разбросанными вкривь и вкось по берегу домишками, виднелась близко подступившая к огородам черная тайга.

«Землей-то мужиков Бог обидел!» – подумал он, приняхиваясь к горьковатому дымку далекого жилья. Ему вспомнилось родное село. Он вдруг представил себя на своем поле. До него так ясно донесся терпкий запах жирной земли, свежееотваленной плугом, что он, не сдержавшись, глубоко вздохнул, и у него предательски заблестели глаза.

– Чего встал, чего встал? – привел в чувство Лаврентия резкий гортанный окрик Вахитова. Лаврентий посмотрел на маленького татарина с нелепо торчащей винтовкой, у которой холодно поблескивал отпотевший штык. Посмотрел на его длинную, чуть не до земли шинель, с потемневшими от влаги полами, на серую шапку, лихо сдвинутую на затылок, с побуревшей от времени звездой с кусочком отколотой эмали и подумал:

«Клоп ты вонючий. Вот уж правду народ говорит: чем козявка меньше, тем зловреднее!»

Лаврентий любил работу. Он всегда относился к ней с благоговением – с детства приучен. И даже такая подневольная работа принесла ему удовлетворение. Он интуитивно чувствовал, что та необъяснимая сила, которая загнала их в трюм баржи, обделила судьбой и своих помощников, лишив их радости общего труда. Уже с сожалением взглянул Жамов на злого татарина, на скучающего Широких, на праздно шатающегося по берегу коменданта.

– Чего уставился? – взвизгнул татарин. – Таскай давай!

– Лошади, и той надо передохнуть.

– То лошади, а то... – начал Вахитов и оборвал речь. Тяжело шагнул к нему Лаврентий и, сдерживая бешенство, проговорил:

– А я кто, по-твоему, – скотина, а?

Вахитов отступил на шаг назад и выставил перед собой штык.

– Лишенец ты, понял?! – злорадно ответил татарин. «Ну, нехристь, молись своему богу, что я не один, а то бы размазал тебя по стерне...» – подумал Лаврентий и, отвернувшись от караульного, набрал большую охапку сена. Повстречавшись с Настей, попросил ее:

– Ты, дочка, поменьше сена бери. Береги себя!

Настя устало опустила голову.

На барже скотник, вылезший из трюма, спросил у Лаврентия:

– Че, паря, скоро конец?

– Жамов я, Лаврентий Жамов, – проговорил устало носильщик.

– Будем знакомы! – пропел скотник. – А я, значица, Афанасий Жучков.

– Сено, Афанасий, кончается, – Лаврентий посмотрел на скотника.

Жучков озабоченно проговорил:

– Давай, Лаврентий, остатнее сено на палубе сложим в носу. Мне способней будет этих одров кормить, – он показал на лошадей и закончил: – Трюм уж под завязку.

– Давай сложим, – согласился Жамов и бросил сено на свободное пространство в носу баржи, с наслаждением помотал гудевшими от усталости руками. Следом за ним побросали сено в кучу и другие носильщики. Копна стала быстро расти.

– Настя, лезь на копну, топчи сено! – приказал Лаврентий дочери и посадил ее на копну.

Наконец погрузка закончилась. Люди тщательно подобрали все до последней былинки.

Стуков поднялся на палубу и скомандовал резким голосом:

«Вахитов, Широких, ведите людей на баржу!»

Усталые носильщики молча потянулись к трапу. Настя съехала с копны вперед ногами, подол ее юбки задрался, оголив белые ноги.

– Осподи, ну как нарошно! – чуть не заплакала Настя, быстро оправляя на себе юбку и чувствуя кожей неотступный взгляд коменданта. Она хотела быстро проскочить по трапу мимо Стукова на берег.

– Жамова, останься! – остановил ее властный голос Стукова. – Помоги Жучкову раздать корма скотине. – Он посмотрел на устало бредущую толпу и нетерпеливо крикнул: – Вахитов, гони их быстрее!

– Есть, командир!

Востриков, стоящий около шкиперской каюты, спросил:

– А мне, комендант?

– Останься здесь пока, – и к Насте: – А ты, Жамова, иди в трюм, раздай сено коровам. Здесь Жучков справится сам.

Настя молча стала спускаться. Она стояла в трюме, привыкая к полумраку. Одна часть трюма была забита сеном, в другой – стояли за загородкой коровы. В лицо пахло парным теплом, навозом.

От родного, привычного с детства запаха пригона у Насти стало спокойней на душе. Вот только бы не этот липкий взгляд.

Голодные коровы беспокойно топтались в загоне, нетерпеливо взмывали, косили на Настю большими грустными глазами.

– Сейчас, голубушки, я вас накормлю! – подхватила девушка. Она погрузилась с головой в привычную крестьянскую работу и стала быстро разносить сено по кормушкам, забыв даже про коменданта.

Стуков наблюдал сверху, как мелькала девушка от кормушки к кормушке. Он воровато оглянулся, потом посмотрел на Жучкова, Вострикова и предупредил караульного:

– Смотри, чтоб никто туда не сунулся, понял! – и выразительно помахал кулаком.

– Понял! – покраснел молоденький милиционер. Стуков по-кошачьи мягко и быстро стал спускаться вниз. Он шагнул в сумрак трюма. Настя, нагнувшись, набирала порцию сена. Комендант заворуженно следил за ней. Его снова бросило в жар.

Настя разогнулась и повернулась к нему навстречу.

– Постой, Жамова! – дрожа от волнения, прохрипел комендант, перехватывая девушку. Та от неожиданности выпустила из рук сено. Стуков придвинулся к ней вплотную. Настя отступила и, запнувшись, упала.

В этот миг у нее не было ни сил, ни желания сопротивляться. А жадные, трясущиеся мужские руки уже торопливо заворачивали подол, рвали последнюю преграду, оголяя нежное девичье тело.

– Молчи, молчи! – хрипел стуковский голос. – Все сделаю, королевой будешь жить, хлеба на всю семью дам. Только молчи!

Настя вспомнила вдруг последнюю встречу с Иваном на берегу Иртыша. Их чистую, словно родниковая струя, молодую страсть, державшую обоих в плену до глубокой ночи. Ей стало нестерпимо горько и обидно оттого, что она не смогла в ту ночь уступить своему собственному желанию и желанию своего избранника. Где теперь ее, Настина, мечта, истоптанная, поруганная... На глаза навернулись слезы. Сквозь них все так же равнодушно, точно это была не она, а кто-то другой, следила за мелькающими руками. Девушка видела, как они торопливо расстегивали брючный ремень, как сильное тело уверенно раздвинуло ей ноги, почувствовала несвежее дыхание на своем лице, грубые, жесткие пальцы и мужскую плоть... И тут она точно проснулась, содрогнувшись от омерзения. По телу побежали холодные мурашки. «За кусок хлеба, сволочь! Мало им мучений наших, так еще в грязь втоптать хочет». Это была уже Настя, родная дочь Лаврентия Жамова, неукротимая и горячая.

Она неожиданно сжала колени и, схватив коменданта за шею, резко повернулась в сторону. Не ожидавший сопротивления Стуков отлетел, зарывшись в рыхлое сено. Настя вскочила на ноги и, быстро оправив на себе одежду, отбежала в сторону. Она наблюдала, как беспомощно барахтался в сене Стуков, и, не сдержавшись, откровенно и зло рассмеялась. Наконец комендант кое-как справился со своей одеждой, с ненавистью посмотрел на девушку и прошипел:

– Ну, погоди, сучка кулацкая, ты меня еще вспомнишь!

– Не пужай! – спокойно ответила Настя. – Мне бояться нечего, хуже, чем сейчас, не будет. – И с угрозой: – А вот ты – бойся! – она медленно повернулась к нему спиной и стала подниматься по лестнице на палубу.

Глава 7

Третью неделю плавится вниз по Иртышу караван. Чем дальше вниз по течению, тем чаще и чаще портится погода.

– Ну и карусель, елова шишка! – хрипел старик шкипер, наваливаясь грудью на правило кормового руля. Он был в шапке-ушанке, сшитой из телячьего меха, поверх телогрейки надет побелевший от времени брезентовый плащ. – Сколь годов хожу, здесь завсегда так, не знаешь, какую пакость подкинет погода! – И, точно подтверждая слова шкипера, из-за крутояра выползла раскосмаченная туча. Она, словно лисьим хвостом, накрыла караван хлесткой снежной крупой, которая в одну секунду, как ножом, вспорола водную поверхность, сбивая белую пену на гребнях волн, покрыла тонкой снежной пленкой шкиперский мостик. Гонимый ветром снежок накапливался у основания крышки, прикрывавшей широкую горловину трюма, больно сек по лицу.

Старику явно хотелось поговорить. Он покосился на стоящего рядом Ивана, который с каждым днем мрачнел и замыкался все больше и больше, и задал вопрос:

– Вот ты мне объясни, Иван, раз в комсомолки состоишь...

– Да не комсомолец я, Ерофей Кузьмич, а активист, сочувствующий, значит, – нехотя ответил Кужелев. Шкипер не отступал:

– А ты все равно объясни, раз активист. Как так, елова шишка, получается в этом колхозе: была, значит, моя Савраска, а стала – чья? И моя вроде и не моя? Опять же земля – ведь мужику ее советская власть дала, а теперь вроде как отбирает. Как так? – допытывался дотошный старикан.

– Да кто у тебя отбирает! – вдруг с жаром возразил Кужелев, по всему было видно, что вопрос этот был у него наболевшим. – Не отбирает, а объединяет. А то долбишь, как дятел, «как так да как так!» – передразнил он старика. И продолжал объяснять: – Будут большие общие поля, на них будут работать все скопом. Советская власть даст трактора, машины, чтоб, значит, облегчение всем было. А то отбира-ат...

– Н-да-а, – протяжно проговорил шкипер. – Не понимает, выходит, народишко. Его в оглобли, а он взбрыкивает, как уросливый мерин, – непонятно было, не то смеется старик, не то серьезно говорит.

– А кто щас, Ерофей Кузьмич, понимает? Ведь никто не жил в их, в колхозах-то, – неожиданно с горечью проговорил молодой парень. – А может, и правда лучше будет. Может, и правда не понимаем чего? А?

Он с надеждой смотрел на старого шкипера. Он уже не объяснял, а сам искал ответа у человека, прожившего долгую, трудную жизнь.

– Ох и дурит погода! – дипломатично ушел от ответа Ерофей Кузьмич, вытирая рукой бороду и мокрое заветренное лицо. – Сколь бывал в этих краях, завсегда так: налетит хмарь, кажись, ни конца ни краю ей не будет, а потом, глядь, солнце – и так на дню несколько раз. Гиблые места, прости господи, – Ерофей Кузьмич тяжело вздохнул. – И куда вас черти только несут. Почитай, край света...

– Я так же знаю, как и ты, – недовольно буркнул Иван. – Куда везут, туда и привезут. Наше дело телячье!

– Ну-ну, – просипел старик простуженным голосом.

Из глубины трюма доносился детский плач. Он то стихал на короткое время, то возобновлялся с новой силой. Кужелев с тревогой прислушивался к детскому голосу. Это был плач грудного Петьки Жамова.

Иван оперся на перила и уныло смотрел на опостылевшую баржу. Прямо под ногами у него была шкиперская каюта, где находилась охрана. С одной стороны каюты наскоро слеплена

пристройка из досок. Это была кухня. Здесь в порядке очереди обитатели трюма готовили из своих припасов обеда, кипятили воду. Список очередности висел здесь же, около входа в пристройку. С другой стороны каюты, прямо на краю борта сооружен туалет-временка на два отделения – мужское и женское. Горловина трюма огорожена дощатым забором в человеческий рост, маленькая площадка, которую он выгораживал, была своеобразной прогулочной палубой. На площадку в строго определенные часы раздельно выходили на прогулку то взрослые, то дети. Внутренний распорядок, заведенный комендантом Стуковым, соблюдался строго.

Иван перевел взгляд на кухонную пристройку, глаза его оживились. На кухню минут двадцать назад зашла Настя.

В сложный переплет попал Иван и от этого страшно мучился. Он уже и не рад был, что поехал караульным. Да и какая радость – все на глазах, и Настя... Чувство вины постоянно висело на парне, она казалась еще тяжелее от того, что он не знал, в чем она, его вина перед Настей и перед людьми, загнанными насильно в трюм баржи. Уж сколько раз он загадывал себе – увидит завтра Настю, подойдет к ней и скажет: «Настя, я люблю тебя, я жить без тебя не могу», – и сделает даже больше: он бросит свою винтовку под ноги коменданту и уйдет вместе с ней в трюм... Но приходил следующий день, и все повторялось сначала. Настя при встрече опускала голову, взгляд ее больших серых глаз, опущенных темными ресницами, был неуловим, и Иван не мог заглянуть ей в глаза, прямо и настойчиво спросить. Да и ответ увидеть он, честно говоря, тоже боялся... Вот и ходил парень по кругу, не в силах разорвать его.

Взгляд его потух, плотно сжатые губы побелели, и он неприязненно вполголоса пробормотал:

– Страдалица, вся исстрадалась...

– Ась? – переспросил не разобравший слова напарника старик и внимательно посмотрел на Ивана.

Кужелев только отмахнулся.

Внизу под ногами скрипнула дверь, из кухонной пристройки вышла Настя. В руках у нее был большой медный чайник. Хоть и ждал этого мгновения Иван, но от неожиданности вздрогнул. Все лицо облило жаром.

– Настя, погоди! – окликнул ее Иван и кинулся вниз по лестнице на палубу.

– Чего тебе? – спросила девушка, повернувшись к нему вполборота.

– Как ребятишки? – он неловко переминался с ноги на ногу около девушки.

– Петька уже не жилец, Васятка вот заболел! – у нее дрогнул голос, на глаза навернулись слезы. – А я твоего усатого еле упростила воды на грелку согреть, – она едва заметным движением показала в сторону Широких, который стоял на краю борта и смотрел в воду.

– Да видел я! – виновато ответил Иван. – Но ведь пустил же?

Настя подняла голову и посмотрела прямо в глаза Ивану:

– Спасибо и на этом, Иван Трофимыч!

Девушка шагнула за ограду и стала медленно спускаться в трюм.

– Настя, подожди!

Она продолжала медленно спускаться, точно в воду входила, пока не скрылась.

Парень в отчаянии замотал головой.

Ерофей Кузьмич наблюдал за молодыми людьми, по лицу его пробежала тень; он догадался – что для парня эта девушка. Илья Степаныч, не сдержавшись, кашлянул и снова повернулся спиной к Ивану.

Кужелев затравленно посмотрел на невольных свидетелей, быстро подошел к каюте и рывком распахнул дверь.

В жарко натопленном помещении за столом сидел комендант, ворот его гимнастерки был расстегнут, на топчане валялась отдыхающая смена.

– Товарищ комендант, можно в нашу каюту больного мальчишку перевести на мое место?

Комендант поднял голову, осовевшими от тепла глазами посмотрел на Кужелева и сухо спросил:

– Кого это?

– Васятку Жамова, сильно болеет!

У Стукова блеснули глаза, и он с неприкрытым злорадством спросил:

– Это брат той девки, который в воду упал?

– Брат, – подтвердил Кужелев.

– Не положено! – ответил комендант.

– Так больной же ребенок! – с горячностью воскликнул Иван.

– Не положено, инструкцией запрещено! – снова бесстрастно и сухо повторил комендант.

Кужелев в отчаянии замычал, уж готовый разразиться грубой бранью, но беспомощно присел на топчан, навалившись на ногу лежащего в полудреме Вахитова. Он тупо посмотрел на нее и вдруг резко отпихнул в сторону:

– Разлегся тут!.. – процедил сквозь зубы Иван. Не ожидавший такого поворота, Вахитов подскочил на топчане, ошеломленно глядя на Кужелева.

– Уй, шайтан, дурной!

Ивана понесло, он с бешенством цедил сквозь зубы:

– Увижу, сволочь, будешь на людей орать – башку отверну!

– Иван, дай ему по роже, – равнодушно посоветовал Михаил Грязнов, мрачно поблескивая глубоко посаженными глазами.

– Прекрати, Кужелев! – испуганно всполошился комендант. Он подозрительно смотрел на молодого караульного и многозначительно закончил: – Что-то жалостливый ты стал. Не забывай, кого везем!

Опустошенный Иван молча лег, отвернувшись лицом к стене. Неожиданно для себя он забылся в тяжелом полусне...

...Видит Иван родную деревню Лисий Мыс. Стоят они вдвоем с Настей на краю поля. Над ними бездонное голубое небо. Свежий ветерок наносит все усиливающийся мощный гул. И вдруг видит – на поле непонятное диво. Сзади за ним траурной лентой блестит взрезанная плугами черная влажная земля. «Трактор, – догадался парень. – Так вот он какой!» У него сладко замирает от восторга сердце. Он поворачивается к Насте поделиться с ней своей радостью и вдруг видит ее остановившиеся от страха глаза. Она тянет руку и пытается что-то сказать, а железное чудовище все ближе и ближе, того гляди сомнет, запашет в черную землю. Иван глянул еще раз и понял, чего испугалась Настя. Сиденье на машине было пустое, рулевое колесо крутилось само по себе, и слепая силища перла на них, все подминая под себя. Настя схватилась за голову и в ужасе бросилась бежать. У Ивана от страха обмякли ноги и похолодело внутри.

«Настя-я!»

Опомнился Кужелев, лежит он на топчане, весь мокрый от липкого пота. За тонкими переборками каюты слышится успокаивающий шум воды. Иртышская волна методично и непрерывно била в деревянный борт баржи, да приглушенно доносился надоедливо визгливый голос чаек.

В трюме за две с лишним недели люди утряслись, перезнакомились, сгруппировались по деревням, по районам. Каждый клочок свободного пространства был занят: более удачливые и расторопные захватили двухъярусные нары, другие разместились прямо на полу, под нарами и в проходах между ними. Костомаровские и жители Лисьего Мыса устроились на полу, в самом носу, на маленьком пятачке. Скученность, сырость, зловоние...

Настя медленно пробиралась сквозь людское месиво, стараясь не наступить на чью-либо руку или ногу. Посреди прохода, привалившись спиной к стойке, которая поддерживала палубу, сидел парень. Даже в полусумраке трюма было видно, какой он рыжий. Парень мед-

ленно растягивал цветные меха гармони, и ее чистые серебряные голоса выговаривали слова грустной песни:

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит,
То мое, мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.

Его было не обойти, и Настя попросила:

– Пусти, Николай!

Гармонист будто и не слышал ее:

До-о-горай, гори, моя лучина,
До-о-горю-у с тобой и я.

– Пусти, кому говорят! Видишь, воду несую горячую... ребятишки болеют!

Гармонь тяжело вздохнула, парень свел меха и поднял голову:

– В таком холоде и сырости все передохнем.

– Рвешь душу... Без тебя тошно! – ответила девушка, проходя мимо Николая.

– А мы и по-другому можем! – и парень закатил такие переборы, что хорошо знакомая мелодия «Подгорной» едва угадывалась в цветистых кружевах музыки.

Сидящие недалеко от гармониста две старухи вели свой бесконечный разговор:

– Слышь, Марфа, народ-то че говорит, – бесстрастно говорила одна, – потопят нас, ей-ей, потопят. Увезут куда подальше и потопят. В прошлом году, говорят, всех потопили, вот и нас так же.

– Брось молоть чепуху, бабка! – ввязался в разговор гармонист. – В прошлом году людей зимней дорогой отправляли, обозом, куда-то за болото... А тебя, если бы хотели потопить, давно бы скормили рыбам. Вон сколько пустых плесов прошли, а то ить кормят, муку на тебя переводят.

– Дак я че, народ, слышь, говорит, – не сдавалась бабка.

– Вот я и говорю... народ! – хохотнул Николай. – Ты да древний Нефед, вот весь и народ!

Настя пробралась к своим. Прямо на полу, на немудрящей подстилке, валялись ребятишки. Рядом с Васяткой и грудным Петькой лежала и Клава Щетинина. Анна и Акулина, как могли, прикрывали их одеяльцами, пальтишками, своими телами. Васятку Жамова колотил сильный озноб.

– Мамка, холодно, – хрипел мальчик едва слышным голосом.

– Васенька, потерпи! Щас Настя воды принесет, грелку сделаем.

– Дышать трудно. В грудке болит! – метался по полу мальчик.

– Хос-по-ди! – застонала женщина и громко, нетерпеливо закричала: – Настя, скоро ты?

– Здесь я.

– Что ж ты стоишь! – торопливо проговорила мать. – Наливай воду в бутылки! – и она подала дочери две пустые бутылки.

Настя, обжигая пальцы, налила в них горячую воду, Анна завернула бутылки в холщовые полотенца и сунула одну в ноги Васятке, другую положила между Васяткой и Петькой.

Анна разрывалась между больными детьми. Трудно было поверить, что этой изможденной исхудавшей женщине всего две недели назад исполнилось тридцать девять лет. Сбившиеся, давно не чесанные волосы, серое землистое лицо, темные круги под глазами – вот и все, что осталось от некогда цветущей Анны.

В Петьке едва теплилась жизнь. Он уже не плакал, а чуть слышно попискивал и больше суток не брал в рот грудь, Анна снова и снова пыталась накормить ребенка, но жизнь постепенно угасала в маленьком тельце. У Петьки уже обострились черты лица. Анна так и стояла на коленях, склонившись над ребенком, забыв убрать под кофту грудь. Она тихо раскачивалась над ним, потом, сжав голову руками, глухо застонала...

– Мамка, мне тоже холодно! – заплакала Клавка Щетинина. Акулина поправила на девочке одежду и беспомощно оглянулась.

– Тетка Акулина, я щас грелку сделаю, у меня осталось немного воды, – проговорила торопливо Настя и вылила оставшуюся воду в бутылку.

Акулина благодарно взглянула на Настю.

– Спасибо тебе, Настя! – и женщина сунула грелку под одеяло дочери.

Настя взяла пустой чайник и стала выбираться на палубу. Около пристройки ходил комендант. Его серая шинель была застегнута на все крючки. Строго по уставу надета на голову шапка-ушанка. На офицерской портуpee поверх шинели болталась потертая револьверная кобура. Лицо бесстрастное, равнодушное. Девушка испуганно остановилась.

Глаза у коменданта оживились, на лице промелькнула злорадная улыбка.

– Куда?

– На кухню, воды скипятить, – просительно заговорила девушка.

– Как фамилия? – откровенно издевался Стуков.

– Ай забыл, Жамова я! – с ненавистью ответила Настя.

– Нет, не забыл и отца твоего помню хорошо, контру недобитую. Я все помню, ничего не забываю!

Он внимательно посмотрел на нее и подошел к списку, висящему на стене пристройки. Поводил по нему пальцем, пока не уткнулся в фамилию Жамов, затем достал карманные часы, хлопнул крышкой, посмотрел на них и сказал:

– Вертайся, сейчас не твоя очередь.

– Дети же болеют!

Комендант стоял перед Настей, слегка покачиваясь с носка на пятку, руки – за спиной.

– Меня дети ваши сопливые не интересуют, меня порядок интересует!

Настя в упор глядела на коменданта. Тот отвел взгляд и сухо закончил:

– Вас много, а кухня одна!

Он отвернулся и стал спокойно прохаживаться перед каютой от борта до борта баржи.

У Насти от жгучей обиды потемнело в глазах. Она ничего не могла сказать в ответ. Вдруг ее кто-то легонько подтолкнул сзади.

– Давай сюда чайник, скипачу я воду. Моя щас очередь, – тихо проговорила старуха Марфа.

– Спасибо, баушка!

– Чего уж там! – пробурчала Марфа и забрала у Насти чайник.

Дело шло к вечеру. Ветер прогнал последние тучи, и они, цепляясь за высокие острые вершины пихт и елей, нехотя уплывали к горизонту. Помаленьку стих и ветер. На голубом небе засверкало вечернее солнце. Потеплело. Ничто не напоминало о сильном ветре, о мокром снеге с дождем и хлесткой снежной крупой. Даже старый пароход веселее зашлепал колесами, слегка покачиваясь с борта на борт широким приплюснутым к самой воде корпусом. Обмытый дождями, он ярко сверкал коричневой краской на темно-серой воде.

Продрогшая во время непогоды баржа тоже нежилась в лучах весеннего солнца. Над мокрой палубой поднимался легкий пар от просыхающих на солнце досок. Привалившись спиной к каюте, стоит Илья Степанович Широких. Он блаженно шурится, подставляя лицо и влажные усы под скудные солнечные лучи. Рядом с ним винтовка, прислоненная к дощатой стенке. От борта к борту медленно и грузно ходит комендант.

Дверь каюты открылась, и из нее вышел Иван Кужелев. Он удивленно посмотрел на яркие краски весеннего вечера, смущенно кивнул головой Илье Степановичу и полез на рулевую площадку к старому шкиперу.

– Ну, че я тебе говорил! – встретил его старик. – Тут завсегда так, на дню семь пятниц бывает!

Иван зябко передернул плечами; лицо у него было хмурое, и он медленно проговорил:

– Уснул, Кузьмич, сам не заметил как. Снится ерунда всякая!.. – и парень далеко сплюнул за борт.

– Н-да-а, – задумчиво просипел старик, – многим нынче хреновина разная снится...

На освещенную вечерним солнцем палубу стала вылезать из трюма молодежь. Первым показался Николай со своей гармонью, за ним потянулись другие. Гармонист присел на ящик и привалился спиной к редкому заборчику. Он улыбался, подставляя усыпанное веснушками лицо под скупые солнечные лучи. Последней из трюма поднялась Настя. Она подошла к ограждению и сквозь широкие щели смотрела на залитые водой медленно проплывающие берега. Затем повернулась и, мельком глянув на Ивана, стоящего на площадке рядом со шкипером, вдруг обняла гармониста за плечи и тихо сказала:

– Сыграл бы ты, Коля, что-нибудь веселенькое.

– Это можно! – охотно согласился гармонист. Его рыжий чуб упал на цветные меха гармони. Пальцы музыканта легко пробежались по кнопочным клавишам. И вдруг гармонь закричала деревенским петухом громко, заливисто, потом залаяла собакой, да так похоже, что окружившая Николая молодежь весело рассмеялась.

Илья Степанович довольно улыбается в пушистые усы. Только комендант невозмутимо прохаживается по палубе.

А гармонь уже кукует серенькой кукушечкой. Ее нехитрая простенькая песенка очаровывает и уводит всех в далекие родные места. Сладко щемит в груди. Молодежь присмирела. И вот оттуда, издалека, где только что затих нежный голос кукушки, все яснее слышится разухабистая знакомая мелодия. Настя восторженно подняла голову и, глядя на коменданта, запела:

А я выйду за ворота,
За ворота – крикну:
Я не здесь родилась,
Не скоро тут привыкну.

Гармонист довольно улынулся, широко растягивая меха двухрядки, и включился в перепев с Настей:

Все в колхозы, все в колхозы,
А мы проколхозили,
Умны сами разбежались,
Дураков стреножили.

Молодежь оживилась, послышался смех. Когда гармонист повторял музыкальный наигрыш, звонкий девичий голос подхватил двустипшие понравившейся частушки:

Умны сами разбежались,
Дураков стреножили.

На губах Насти скользила едва заметная улыбка, она гордо подняла голову... И пошла девчонка по кругу – с носка на пятку, с пятки на носок, слегка покачивая плечами, сдержанно разводила руками – и остановилась напротив гармониста... Била дробь девчонка, пела задушевым голосом, а в глазах у нее была такая мука, такая безысходная тоска.

Вставлю Сталина портрет
В золотую рамочку,
В люди вывел он меня,
Темную крестьяночку.

Стуков насторожился и подошел ближе к забору. Николай, заметив обеспокоенное начальство, еще шире развернул меха гармони:

Пароход вперед плывет,
Сзади дым густой,
Прикажи, комендант,
Отвезти меня домой.

Стуков побелел от ярости.

– Прекратить! Я не позволю издеваться над советской властью! – с протяжным подвывом отчеканил комендант и приказал Широких: – Перепиши, всех до одного перепиши! Всем урезать хлебный паек, чтоб не бесились!

Настя тоже вся побелела. Она подошла к забору и зло в упор спросила:

– Что... и петь нельзя? А что нам можно, комендант, – лечь и помереть? Ты этого хочешь – не дождешься! – она рассмеялась и пропела, словно плюнула ему в лицо:

Погоди, калина, виться,
Погоди, погода, дуть,
Погоди, милой, смеяться,
Будешь тут когда-нибудь!

– Прекратить! – тонким голосом завизжал комендант. – В трюм! Все в трюм! Перестреляю, сволочь кулацкая!

Он судорожным движением схватился за кобуру и стал торопливо ее расстегивать. Илья Степанович Широких кинулся к Стукову и повис на его руке.

– Не бери греха на душу, командир. Его и так полно! – Затем он повернулся к молодежи и закричал: – Уходите, ради Бога, уйдите от греха!

Молодежь, возбужденно переговариваясь, стала быстро спускаться в трюм.

Наконец комендант вырвал руку, которую крепко держал милиционер, с бешенством посмотрел на него и процедил сквозь зубы:

– Заступничек, смотри!.. – и быстро ушел в каюту. Из кухни прошмыгнула бабка Марфа. Она держала в руках два чайника: один – Настин, другой – свой.

– Ос-по-ди, че делатся! – шептала она побелевшими от страха губами.

На рулевой площадке замерли Иван Кужелев и старый шкипер.

– Вот так повеселились, елова шишка! – старик снял с головы шапку-ушанку и машинально вытер ею запотевший лоб. – Он теперь поедом ее съест!

– Подавится! – угрюмо ответил Иван.

Старик посмотрел на соседа, хотел что-то сказать, потом махнул рукой и надел шапку.

Кужелев стоял и смотрел на пустую палубу, а перед глазами была Настя, ладная, крепкая, с гордо поднятой головой, в белой кофточке с черной юбкой и аккуратных ботиночках на полувысоком каблучке, которые берегутся в деревенском быту для редких праздников.

Иван чувствовал, как в нем что-то изменилось; теперь он знал наверняка – без Насти ему нет жизни.

Далеко впереди, возвышаясь над низкими иртышскими берегами, показались высокие увалы, покрытые темной тайгой. Ерофей Кузьмич показал рукой на открывшуюся вдалеке таежную грядку и негромко сказал:

– Седни ночью, однако, на Обь-матушку выйдем. Вот где нас помотает. Шибко ее ветра, паря, любят.

Глава 8

Прошли еще одни сутки... Стоит тихая северная ночь. Полупрозрачная белая муть накрыла все вокруг. Ближе к утру сильно посвежело. Тусклым серебром светилась неоглядная обская гладь. И где-то на ее просторах затерялся «Дедушка» с двумя баржами на буксире.

Стоявший с вечера в карауле Иван изрядно продрог. Тонкой корочкой льда покрылась влажная палуба. Поскользнувшийся на льду Кужелев вполголоса выругался и привалился спиной к перегородке. Илья Степанович, напарник Ивана по караулу, сидя пристроился на своем излюбленном месте, втиснув крупное тело в широкую щель ограждения. Они давно уже не вели между собой разговоров: все пересказано за эти дни. На барже было тихо, только из трюма иногда доносились приглушенные сонные вскрики.

Распустив черный шлейф дыма, астматически хрипел «Дедушка». За его низкой кормой натужно горбились маслянистые валы, поднятые пароводными плечами. Вдруг откуда-то издалека, с едва видневшегося берега, подул слабый ветерок. Он с каждым мгновением набирал силу. Речная гладь вначале потемнела, затем побежали невысокие волны, и вот уже она, как взбесившийся медведь, встала на дыбы. Со все нарастающей силой волны били и били в борта ветхой баржи. Она с надсадой скрипела и угрожающе потрескивала. Нос ее стал тяжело зарываться в воду. Неистовый ветер играючи баловался со сцепленным караваном, буксирный трос, напряженно вытянувшись, гудел на низкой басовой струне.

Из каюты выбежал шкипер. Оглядевшись, он испуганно перекрестился:

– Мать честна! Сроду такой бури не видел!

Ложась всем телом на ветер, широко расставив ноги, старик медленно двинулся к трапу, который вел на рулевую площадку. Ухватившись за бревно, он всем телом навалился на него. Толстое правило, как живое, вырывалось из рук старого шкипера. Перекрывая шум ветра, он закричал:

– Иван, помоги!

Кужелев посмотрел на винтовку и бросил ее Илье Степановичу:

– Подержи!

В следующее мгновение он был уже наверху. Вдвоем с Ерофеем Кузьмичом с трудом умили руль, нос баржи перестал рыскать.

Шкипер прочно закрепил правило веревкой, облегченно вздохнул и огляделся. И тут же, перекрывая шум ветра, испуганно прокричал Кужелеву в ухо:

– Беда, паря! Пароход сносит на берег. Разобьем баржишки о топляки.

В эту же секунду высокая черная труба парохода окуталась белой шапкой пара. Над рекой поплыл низкий рев гудка. На носу парохода суетливо метались человеческие фигуры. Перекрывая шум бури, с грохотом, лязгом пошла в воду якорная цепь и, вытянувшись, застыла напряженной прямой линией. Старик со страхом и надеждой смотрел на нее.

– Кажись, заякорились! – наконец облегченно проговорил Ерофей Кузьмич.

– Е-е-е-тя, е-е-те-чка, ы-о-чек! – из трюма донесся жуткий женский голос. От этого нечеловеческого крика, похожего на звериный вой, мороз пробежал по коже. Шкипер сдернул шапку с головы и испуганно перекрестился:

– Кто-то помер, царствие ему небесное! – проговорил старик дрожащим голосом.

У Кужелева оборвалось сердце, он узнал голос Анны Жамовой... Анна стояла на коленях и держала перед собой завернутого в ватное одеяльце ребенка. Его головка, запрокинувшись, безвольно повисла. Открытый глаз отблескивал в предрассветных сумерках. Казалось, он напряженно и укоризненно рассматривал обступивших Анну людей. Старая Марфа подошла к стоящей на коленях матери и решительно забрала сверток в руки.

– Дай-кось сюда, Анна. Нехорошо так-то. Глазки надоть закрыть, – старуха, тяжело опираясь рукой о тюк, опустилась на колени рядом с Анной. Она осторожно положила сверток на пол, потом так же медленно полезла рукой в глубокий карман на юбке. Долго шарила там и достала тряпицу, завязанную в маленький узелок. Развязав, она взяла из него два медных пятака. Затем так же обстоятельно и неторопливо завязала узелок и положила его в бездонный карман. Склонилась и осторожно, мягким движением прикрыла веки мертвому ребенку, положив на них медные пятаки. Марфа стояла на коленях и буднично приговаривала:

– Успокоилась душенька... Может, оно и к лучшему. – Затем подняла глаза к потолку и истово осенила себя размашистым крестом: – Прими, Отец наш, в Царствие Твое небесное безгрешную душеньку раба Твоего, младенца Петра.

Погребальным звоном младенцу Петру были тяжелые удары волн о деревянные борта баржи да заунывный свист ветра и шум разбушевавшейся стихии. Вокруг двух коленопреклоненных женщин молча стояли обитатели трюма.

Рядом с умершим братишкой лежал Васятка, он тяжело, с хрипом дышал, разметавшись от нестерпимого жара, который полыхал в его худеньком тельце.

Буря трепала караван больше двух суток. Наконец на трети погода стала улучшаться. Ветер, свирепствовавший все это время, стал порывистым; он то стихал на короткое время, то кидался на баржу с новой силой. Только на третьи сутки измученная Анна забылась чутким сном. В один из таких кратких перерывов затишья к Васятке вернулось сознание. Его бил жестокий озноб. Почувствовав перемену в сыне, Анна сразу же проснулась. Она привстала и заботливо поправила на сыне одеяло. Вася тихо позвал:

– Мама!

– Что, сыночек? Тебе лучше?

– Лучше... Только холодно сильно! – У мальчика стучали зубы. – Мама! – хрипел Васятка, зовя мать.

– Что, Василек? Что, родненький? – У женщины дрожали губы и лихорадочно блестели глаза.

– Мама, если я помру, как Петька, не закапывайте меня в ямку раздетого, – мальчик говорил отрешенно, равнодушно, точно речь шла не о нем, а о ком-то постороннем. – Как холодно, мама!

Анна чуть не задохнулась от приступа острого, невыносимого горя. Прерывающимся голосом она сказала:

– Что ты, Васенька, Петька спит. Вон видишь! – И она показала рукой на завернутый трупик ребенка, лежащий в головах.

– Помер Петька, я знаю! – прохрипел Васятка. Он тяжело дышал и едва слышно прошептал: – Ой, как болит у меня в грудке, – и потерял сознание.

...Днем ветер окончательно стих. Обь успокоилась, на голубом небе полыхало яркое солнце. От бури не осталось и следа. А поздним вечером, на закате солнца, умер и Васятка. Анна не плакала. Она лежала рядом с мертвым сыном на полу трюма и крепко прижимала его к своему телу. Лежала молча, без движения, словно и сама умерла. Малолетняя Танька сидела рядом с матерью и трясла ее за плечи.

– Мамка, мамка! – плакала взхлеб девчонка. – Мамка, не умирай!

Давясь слезами, Настя оторвала Таньку от матери. Крепившаяся все это время, она не могла больше выдержать и горько плакала. Из глаз у нее бежали слезы. Плакала не навзрыд и не в голос, как плачут деревенские бабы, а молча – сквозь сжатые зубы едва слышно прорывался мучительный стон.

– Не плачь, Танька, не плачь! – раскачиваясь, Настя всем телом прижимала к себе сестренку. – Не умрет мамка. Тяжело ей щас, пусть побудет одна!

Измученная Анна действительно была сейчас далеко, далеко... Ее сознание отказывалось воспринимать случившееся. Не будь воспоминаний – этой спасительной ниточки, – в которые погрузилась Анна, ее сердце могло бы не выдержать.

...И был тогда теплый весенний день. Ослепительно светило солнце. В деревне праздник – разгульная, веселая Пасха. Молодежь в ярких одеждах толпами гуляет по улице. Слышна веселая переключка звонкоголосых гармоней. На просторной поляне, уже заросшей молодой зеленой травкой, установлена высокая качель. И она, Анна, качается в паре с Лаврентием. Молодой крепкий парнишка белозубо улыбается ей. Рот обрамляет мягкая борода, с хмельными от радости глазами, он все раскачивает и раскачивает свою напарницу. Праздничный сарафан бешеной птицей вьется вокруг девичьих ног.

Ей кажется: еще мгновение, и вся одежда слетит с нее... Анна испуганно сжимает колени, пытаясь прижать, поймать подол, а сарафан вырывается, как живой, и стелется за девушкой ярким весенним цветком.

А Лаврентий все наддаст и наддаст, качель взлетает все выше и выше. У Анны сладко и в то же время больно замирает сердце. Оно то бьется жарким комочком где-то около горла, то, скатившись вниз, неприятно холодит грудь...

Как больно бьется сердце. Как нестерпимо больно оно стучит в груди. Только воспоминания и были для Анны спасительной ниточкой.

Как всегда водится по русскому обычаю, в доме, где лежит покойник, было тихо. Не слышно шума молодежи, прекратились бесконечные долгие старушечьи разговоры. Только тяжелые вздохи да укоризненно-ворчливый голос старухи Марфы:

– Ос-по-ди, где же Твоя справедливость? Почему не прибираш нас, старух? Почему забираш к Себе малых да несмышленных?

Им бы жить да жить! Ос-по-ди!

Акулина Щетинина сквозь слезы смотрела на закаменевшую в горе подругу и с ужасом переводила взгляд на больную дочь: Клава уже не поднималась. Здесь же, на мешке с одеждой, сидел мужик со свалывшейся русой бородкой и потухшими, глубоко ввалившимися глазами. Мощные руки, способные одним ударом свалить быка, бессильно подрагивали на коленях. В глазах у него мучительный вопрос: как сейчас этими сильными руками можно кого-нибудь поддержать, куда их подставить, если родные дети растаяли у тебя на глазах? Скупые мужские слезинки одна за другой катились из глаз. Лаврентий смахнул их пальцем и глухо сказал:

– Ладно, Анна, убиваться. Все одно ничем не поможешь. Хоронить надо. Петька – третий день пошел, как лежит. О живых думать надо. Слышь, мать!

Он тронул неподвижно лежащую жену за плечо:

– Пойду к коменданту насчет похорон!

Лаврентий встал с мешка, какое-то время еще потоптался на месте, не решаясь двинуться к выходу, наконец – тронулся.

– Ну ладно, пошел я.

Он осторожно протиснулся через толпившихся рядом людей и пошел к лестнице, которая вела из трюма на палубу баржи. Жалобно скрипнули деревянные ступени под свинцово-тяжелыми шагами. Почерневший за эти дни Лаврентий с глубоко ввалившимися глазами вышел на палубу и зажмурился от яркого солнца. Он прикрыл глаза широкой ладонью и, немного привыкнув к свету, огляделся. На дежурстве стоял односельчанин – Иван Кужелев.

Лаврентий окликнул Кужелева.

– Иван, позови коменданта!

– Че, дядя Лаврентий?

– Похоронить ребят надо.

– Каких ребят? Кто еще помер?

– Васятка.

– Ва-сят-ка?! – растерянно проговорил Иван.

– Васятка, – с горечью подтвердил Лаврентий.

Жалость перехватила парню горло. Он растерянно кашлянул, руки бессильно опустились, приклад винтовки глухо стукнул о деревянную палубу. Иван повернулся и медленно пошел в каюту.

Из двери вышел комендант и подошел к ограждению.

Хиленький заборчик, слепленный на скорую руку из некромленных досок. И крепости в нем нет никакой, а держит людей крепче любого капкана. По одну сторону его – свобода, по другую – неволя. И никуда не сбежишь, никуда не спрячешься! Кругом – вода, кругом – тайга.

– В чем дело? – спросил комендант, его серые глаза холодно смотрели на Лаврентия.

– А то не знаешь, начальник! – усмехнулся невесело Лаврентий. – Похоронить покойников надо!

Стуков не обратил внимания на реплику Лаврентия, посмотрел на воду, на пароход, стоящий невдалеке, по которому уже суетливо бегали матросы.

– Можно и похоронить, погода успокоилась. Только торопитесь, скоро отплываем.

Старуха Марфа обряжала покойника. Когда она стала заворачивать мальчика в холстину, Анна остановила ее.

– Погоди маленько, Марфа! – попросила она старуху бесцветным голосом и обратилась к дочери: – Настя, достань Васино пальтишко, валеночки, шапку.

– Зачем, мама?

– Найди, дочка, найди! Это последняя воля его! – у Анны блеснули на глазах слезинки.

Настя развязала узел и достала теплые детские вещи. Анна подала их старухе:

– Обряди, Марфа, Васю в теплую одежду.

Старуха молча развернула мальчика и стала его одевать.

– Пусти теперь, я прощусь с ним! – Анна склонилась над сыном, заботливо завязала под подбородком завязки на шапке и припала к нему, целуя его в лоб, в щеки. Простившись, она подняла голову.

– Простись, Настя, с Васей!

Девушка склонилась и поцеловала мальчика в лобик.

Мать поискала глазами младшую дочь.

– Таня, простись с братиком!

Девочка отшатнулась в сторону:

– Нет! Нет! Не-е-т! – громким голосом закричала она и забилась в истерике.

– Не трогай, Анна, ее, – проговорила тихо Марфа. – Родимчик может хватить. Тяжело это детской душе.

Анна снова поцеловала сына, припала к нему, замерев на короткое время, потом поднялась и сказала старухе:

– Заворачивай, Марфа.

Старик шкипер выливал воду из широкой плоскодонной лодки, которую придерживал за веревку Илья Степанович.

– Ты гляди, как нахлопало! – не переставая удивляться, ворчал Ерофей Кузьмич, выливая старым ведерком воду из лодки. Наконец показалось дно. Он взял тряпку и обтер ею борта, высушил дно, выжимая тряпку за борт. Старик придирчиво оглядел сухую лодку и удовлетворенно сказал:

– Слава тебе осподи, кажись, все!

Илья Степанович посмотрел на старика.

– Отступился от нас Бог, дед. Ты посмотри кругом, че делается, и Бога выгнали, и людей с места сорвали...

– Чего хорошего, с насиженных мест людей на погибель гнать! – согласился с милиционером Ерофей Кузьмич. Он вставил гребни в уключины и полез на низкий борт баржи.

Из трюма показался Лаврентий Жамов с белым свертком на руках, за ним поднялась Настя с таким же свертком – только поменьше, за ней Анна и еще несколько человек.

Лаврентий подошел к краю баржи и растерянно смотрел на бьющуюся о борт лодку.

– погоди, дядя Лаврентий, я сейчас! – крикнул Иван Кужелев. Он быстро отставил винтовку в сторону и не мешкая прыгнул в лодку.

– Ты почему с поста ушел? Кто разрешил! – закричал нервно комендант.

– Не кричи, – угрюмо пробасил Жамов, – покойники здесь лежат.

Стуков притих.

Иван принял сверток из рук Жамова, затем второй от Насти и положил их рядом на дно в носу лодки. Помог спуститься Анне и Насте. Спустился и Лаврентий, лодка тяжело осела в воду.

Иван крикнул:

– Бросай веревку, Илья Степанович!

– Куда бросай, – спохватился шкипер, – а лопату, топор?!

Старик быстро подошел к пожарному щиту, который был закреплен на стене каюты, и снял с него инструменты.

– Спасибо, Ерофей Кузьмич! – Иван благодарно посмотрел на старого шкипера и уложил все в лодку. Потом он заботливо усадил женщин, Лаврентий пристроился в корме и взял в руки кормовое весло. После того как все угнездились в лодке, Иван поднял голову и сказал коменданту:

– Слышь, комендант, я сам себе разрешил. – Кужелев показал на Настю рукой: – Жена это моя перед людьми и Богом, понял! Пушку можешь забрать, она мне больше не нужна, – и с горечью закончил: – Я бы даже тебе не пожелал закапывать собственных детей в землю...

Как-то неловко закашлялся старый шкипер:

– Вот, елова шишка, простыл, че ли? – и вытер заскорузлой ладонью бородатое лицо. У хмурого Ильи Степановича в глазах мелькнул и тут же потух живой огонек.

Иван взял в руки гребь и оттолкнулся от баржи. Васю и Петю похоронили на высоком обском берегу под могучей раскидистой сосной. Насыпав небольшой песчаный холмик, Кужелев аккуратно прихлопал его лопатой и сделал затес на корявом стволе. На белой древесине выступило множество капель живицы – чистых и прозрачных, как слезинки. По затесу Иван старательно вывел химическим карандашом:

«Здесь похоронены Петр Жамов – от роду шесть месяцев, Василий Жамов – от роду восьми лет. – Потом подумал маленько, взял топор и вырезал выше затеса небольшой крестик. Отошел от сосны к скорбно стоящим Жамовым, взял Настю за руку и совсем не к месту сказал:

– Благослови, дядя Лаврентий, и ты, тетка Анна. Прости, что повенчала нас с Настей эта могилка.

Глава 9

Плывет «Дедушка», напрягается из последних силенок, выгребая против мощной стрежи великой сибирской реки, а над ним полыхает закатная заря. Велика Сибирь, велика река Обь, и ничтожно мал буксирный пароходик с двумя баржонками на буксире, затерявшийся на безоглядных просторах половодья.

Облитый багровым светом северной зари, в каюте за столом сидит комендант Стуков. Он, как всегда, наглухо застегнут, складки гимнастерки аккуратно расправлены. Русые волосы, отросшие за этот месяц, зачесаны на правую сторону, выше левого уха прямой пробор. Перед ним на столе лежит лист белой бумаги, вырванный из тетради, рядом с листом – карандаш. Он глубоко задумался и рассеянным взглядом смотрит в маленькое квадратное окно – иллюминатор.

Снаружи сквозь тонкие переборки каюты доносятся надоедливые визгливые крики больших чаек – мартынов. Вкривь и вкось прочерчивая черными линиями мутное и грязное стекло иллюминатора, проносятся утиные стаи. Стоит теплая весенняя погода. Стуков тяжело вздохнул и отвел глаза. В каюте, кроме коменданта, был только Марат Вахитов. Он со скучающим видом сидел на табуретке около железной печки. Все остальные милиционеры разбрелись по палубе, наслаждаясь погожим вечером.

– Чего сидишь в каюте? – спросил Стуков. Марат посмотрел на него черными раскосыми глазами и нехотя процедил сквозь зубы:

– Надоело, начальник, все надоело.

Комендант ничего не ответил Марату; да он и забыл про него. Его занимало другое: в инструкциях и устных распоряжениях вышестоящего начальства ничего не упоминалось о смерти конвоируемых им людей.

– Они думают – люди не мрут! – злится комендант. Ему, а не им придется отчитываться где-то на Васюгане в участковой комендатуре и сдать всех, находящихся под стражей, по списку.

«Нехорошо, – думает комендант. – Непорядок это!»

Любое, даже незначительное отступление от заведенных правил или пункта инструкции приносило ему почти физическую боль.

Тяжело вздохнув, он придвинул к себе тетрадный лист бумаги и вверху, строго посередине, написал слово «Акт». Затем, на строчку ниже – «на списание людей». И взял написанное в скобки. Надолго задумался и только потом неторопливо и обстоятельно начал писать. Буквы выводил медленно и старательно, склонив голову набок. Стуков был малограмотный.

«Сего дня, двадцать второво мая, на барже померло два человека, один Петр Жамов младенец шести с половиной месяцев от роду, второй Василий Жамов восьми годов от роду». Он вытер выступивший на лбу пот и поставил точку. На следующей строчке приписал: «В чем и расписались». Отступил еще ниже на строчку и старательно вывел: «Комендант В.С. Стуков», взял написанную фамилию в скобки. Рядом поставил крупную букву «С» и приделал к ней лихую зубчатку. Затем подчеркнул жирной чертой, точно посадил свою роспись на добротную деревянную лавку. Строчкой ниже у него появилось: «Милиционеры». Он посмотрел на Вахитова, потом на закрытую дверь и приписал столбиком: «Вахитов, Широких».

– Марат, иди распишись!

Вахитов встал с табуретки, подошел к столу и поставил свою закорючку в указанном месте, молча отошел и снова уселся на табуретку.

Стуков взял в руки акт, посмотрел на него и удовлетворенно улыбнулся.

– Вот теперь порядок! – Он повернулся на лавке и громко крикнул в открытую дверь: – Широких, зайти ненадолго ко мне в каюту!

Пожилой милиционер заглянул в дверь.

– Чего звал?

– Распишись в акте.

Илья Степанович подошел к столу, приставил к стене винтовку и взял листок. Долго читал, шевеля губами, при этом его пышные усы смешно подрагивали.

– Мрет народ! – тяжело вздохнул Илья Степанович. – Где приложиться-то?

Стуков ткнул пальцем в листок.

Милиционер положил лист бумаги на стол и написал крупными неровными буквами: «Широких». Расписавшись, он поднял голову и, чувствуя неловкость, как-то просительно заговорил:

– Ты, комендант, злобу-то на Ивана не держи. Ихнее дело молодое. Мы тут со стариком-шкипером поговорили. Он вместе со мной подежурит. Поди, недолго уже осталось...

– Не положено! – сухо ответил комендант. – Если нужно будет, я сам буду дежурить.

По лицу Стукова трудно было понять, сердится он или нет. Оно, как всегда, было холодное и бесстрастное.

– Делай как знаешь. Хозяин – барин! – смущенно проговорил милиционер и, не удержавшись, с интересом спросил: – Иван-то теперь как – вольный али ссыльный?

– Не мне решать. Да и хвост теперь у твоего дружка привязан. Жена за комендатурой, – не мог сдержать злорадной улыбки комендант.

– Н-да-а! – крикнул милиционер, взял винтовку и вышел из каюты.

Стуков взял акт в руки и положил его на край стола. Затем достал из папки амбарную книгу и развернул ее. В ней были переписаны все люди, которых ему было поручено конвоировать на спецпереселение. Он внимательно читал, переворачивая листы, взял карандаш и вычеркнул две фамилии, стоящие под номерами триста пятьдесят пять и триста пятьдесят шесть.

В трюме жизнь шла своим чередом. В углу, подальше от места, где расположились Жамовы и Щетинины, слышался приглушенный смех. Это молодежь сбилась в кучу около гармониста.

– Хватит вам, жеребцы, ржать! – строго прикрикнула старуха Марфа. – Ни стыда, прости господи, ни совести.

В трюме стало тише. Многие уже укладывались спать. Постелила постель и Анна. Они легли с Лаврентием и положили между собой Таньку. Анна крепко прижала к себе дочь и повернулась спиной к молодым. Это было все, что она могла предложить им в первую брачную ночь.

Иван и Настя тихо лежали за спиной матери. К удивлению Насти, Иван сразу уснул, как только лег. Настя прислушивалась к глубокому ровному дыханию мужа. Так мог спать только человек с абсолютно чистой совестью или человек, принявший для себя очень важное решение.

Настя осторожно гладила мужа, а из глаз у нее бежали слезы.

Да она и не думала их останавливать.

А пароход все скребся и скребся вверх по Оби. Остались за кормой древние русские поселения Сургут, Нижневартовск, село Александровское. В последний день мая, где-то между Александровским и Каргаском на высоком крутояре около маленького рыбацкого поселения похоронили Клаву Щетинину, вернее, оставили на берегу. И снова эта нелегкая работа легла на плечи Ивана Кужелева.

Приткнувшись к берегу, деловито пыхтел «Дедушка». На пологой косе под крутояром стояли немногочисленные жители, бегали любознательные и пронырливые ребятишки.

– Пашка, Пашка! – звонко кричал дружку белоголовый мальчишка. – Это какая баржа, однако, – третья?

– Не третья, а четвертая, вчерась третья была! – поправил его мальчишка, шмыгая облупившимся на солнце носом, и уверенно закончил: – Опять хоронить будут.

– А ты откуда знаешь? – пискнула маленькая девчушка, точно утенок переминаясь с ноги на ногу.

– Знаю, – ответил хозяин ярких веснушек. – Вот увидишь!

– Пашка! Вот я тебе, стервец, поговорю! – пригрозил мальчишке старик с непокрытой головой. Черные волосы его были густо побиты сединой, когда-то черные усы порыжели от табачного дыма. В углу рта старика дымилась прилипшая к губе махорочная самокрутка.

Пашка не удостоил взглядом деда. Он демонстративно отвернулся от него, заложил руки за спину и далеко цыкнул слюной сквозь зубы, стараясь попасть в булыжник, полузамытый в утрамбованный волнами песок.

С грохотом ткнулся в берег трап. Из ограждения вышел Иван Кужелев. Он нес перед собой детский трупик, завернутый в белую холстину. За ним шла Акулина Щетинина, следом – Михаил Грязнов и последним – Стуков. На барже не было видно ни единой живой души, кроме дежурившего милиционера.

Комендант торопился, и даже такие вынужденные задержки выводили его из себя. Он и теперь быстро обогнал процессию, подошел к жителям и спросил:

– Сельсовет есть?

– Нету сельсовета, начальник, – ответил угрюмо старик с непокрытой головой. – А покойника оставь. Мы привыкли, это уже третий будет... Приберем. Знать, человек, а не собачонка какая-нибудь, – закончил неодобрительно старик.

У Стукова оживились глаза, он облегченно вздохнул, не нужно было никому угрожать и никого просить. Подошедшему Кужелеву он приказал:

– Положи покойницу, жители похоронят!

Иван растерянно оглянулся, ища, куда положить свою ношу.

«Не на землю же!» – мелькнуло в голове у Ивана. Рядом стояла поленница дров. Иван облегченно вздохнул и осторожно положил Клаву на поленницу. Акулина припала к мертвой девочке и закаменела. И надо было плакать, а не плакалось. Все перегорело у нее внутри. Она просто цеплялась изо всех сил за дочь, словно хотела удержать ее своими руками.

– Быстрей, быстрей! – торопил Стуков. – Грязнов! Веди Щетинину на баржу!

Михаил подошел к Акулине и взял ее за плечо.

– Пошли.

Акулина молча обнимала свою мертвую дочь. Грязнов грубо рванул женщину за плечи. Акулина застонала и медленно выпрямилась. Она сухими страшными глазами смотрела на коменданта и тихо проговорила:

– Я проклинать тебя не буду. Не-е-т! Моего проклятья мало!

Вас сама земля проклянет!..

В первый летний день, погожий и теплый, полупрозрачный зеленый туман накрыл все вокруг. Это в одночасье брызнула зелень на залитых водой тальниках и на крутоярах, заросших смородиной и густым черемушником. В этот же день пароход пересек линию, где черные воды Васюгана упругой стеной напирала на светло-мутную Обь. Линия гнулась, дрожала от напряжения, точно канат в крепких руках противоборствующих команд.

Первым летним днем короткого сибирского лета свалилась бабка Марфа. Долго она крепилась, вынесла весеннюю непогоду и сырость – и вот свалилась. Услыхал, наверное, Всевышний молитвы старухи и решил прибрать ее.

Тихо лежала бабка Марфа. Она впервые за двадцать с лишним дней смогла вытянуться во весь свой маленький рост. Это сын с невесткой и сердобольные соседи ужались, насколько позволяла людская скученность, и освободили местечко для больной.

Марфа ничего не просила и ни на что не жаловалась. Ее старческие руки с кожей цвета старого пергамента, перевитые вспухшими темными жилами, с пальцами, изуродованными долголетним непрерывным трудом, покойно лежали поверх одеяла. Ефим сидел рядом с матерью и нежно гладил ее натруженные руки.

– Мама, тебе че-нибудь надо?

– Ничего мне, Ефимушка, не надо. Хватит... Нажилась, нечего Бога винить. Да и вам легче будет.

– Че ты говоришь, мама!

Старуха не обратила внимания на восклицание сына. На ее умиротворенном лице вдруг появилось легкое беспокойство. Пальцы судорожно заскребли одеяло.

Ефим с тревогой пригнулся к матери.

– Тяжело, сынок, так-то помирать. Не попрощалась я с родными могилками... Со стариком, с отцом, с матерью, – она строго и в то же время встревоженно смотрела на сына, и глаза ее, казалось, говорили: «Совестливый ты, Ефимушка! И тебе будет тяжело, если забудешь...» Даже перед смертью мать пыталась оградить сына от мук, которые терзали ее сердце.

Марфа тихо и требовательно проговорила:

– Ты поклонись, Ефим, слышишь, – поклонись родным могилкам в Лисьем Мысу. Моей могилы не будет, так ты отцу поклонись, деду с бабкой. Корень твой там, Ефим. Слышишь – корень. Не забывай... Обещай мне! – голос у Марфы совсем ослабел.

– Обещаю, мама!

Старуха облегченно вздохнула и тихо позвала:

– Марья!

– Че, мама? – склонилась над умирающей невестка.

– Смертное мое в узле возьмешь. Ты знаешь где. Пусть Евдокия Зеверова обрядит меня.

Мария припала к свекрови, захлебываясь слезами.

– Будет, будет, не гневи Бога! – попросила старуха едва слышимым умиротворенным голосом. – Отойдите теперя, помирать буду...

Марфу похоронили на берегу Васюгана. Яркое светило полуденное солнце. Белой кипенью цвели черемуховые берега. Отягощенные цветами ветви гнулись от слабого ветерка, и белые лепестки, точно нежные снежинки, медленно падали на черную влажную землю. В последний путь Марфу проводил Ефим с Марией да Иван Кужелев с Настей, больше на берег никого не пустили. Оправляя могильный холмик, Иван невесело пошутил:

– Скоро заправским могильщиком стану!

Затем он срубил две черемуховые палки, ободрал с них кору, и сложив крестом, намертво примотал их друг к другу тонким и гибким черемуховым прутком. Попробовал на крепость свое сооружение и воткнул крест в свежekoпаную землю. И все тем же огрызком химического карандаша написал на перекладине – «М.К. Глушакова». Повернулся к Ефиму и спросил:

– Какого года рождения мать?

– Одна тыща восемьсот пятьдесят девятого, – ответил Ефим, а сам не отрываясь смотрел сквозь слезы на могильный холмик, точно хотел запомнить его на всю жизнь до мельчайших подробностей. Простоволосая Мария по-детски хлюпала носом, беспрестанно вытирая ладошкой бежавшие слезы.

– Кто сдох? – неожиданно рядом прозвучал тихий голос. Иван вздрогнул и удивленно обернулся. Сзади, в трех шагах от них, стоял невысокий худенький человек. Его широкоскулое узкоглазое лицо излучало столько доброты, столько неподдельного участия, что Иван, ошарашенный таким вопросом, хотел было грубо ответить, но остановился. Все с интересом смотрели на внезапно появившегося пришельца. Его голова была повязана грязной косынкой. На плечах – телогрейка, полы и рукава у которой блестели, словно сшитые из жести, до того они были засалены многолетней рыбьей слизью.

На ногах – такие же засаленные штаны, заправленные в кожаные бродни. По всей одежде ярко сверкала на солнце присохшая рыба чешуя.

Иван сдержанно ответил, показав легким кивком головы в сторону Ефима:

– Его мать похоронили.

Человек сочувственно покачал головой и произнес тонким, почти детским голосом:

– Шибко плохо! Мой тоже баба сдох, дети – сдох. Шибко плохо. Савсем один! – Голос у пришельца дрогнул.

– Ты кто? Откуда взялся? – спросил Кужелев.

– А-а? Мой – Пашка... рыпак! Моя тут все знают. Чижапка – знают, Мыльджино – знают, Каргасок – знают, – с чувством собственного достоинства ответил низкорослый остяк и в свою очередь спросил:

– Твоя кто?

– Если бы знали! – ответил за всех Иван. – Ты вон у дяди спроси, который на барже сидит. Он тебе все объяснит!

– А-а! Твоя с парохода, – снова заговорил остяк и осуждающе закончил: – Пошто товара нет? Зачем пустой баржа?

– Это, Павел, она снаружи пустая, – угрюмо ответил Ефим Глушаков. – Внутри она полным-полнехонька, сесть негде, а ты говоришь – товара нет!

– О-е-е! – удивился остяк. – Зачем так много?

– Учить будут, Павел, – все так же мрачно продолжал говорить Ефим, – как светлую жисть на Васюгане построить. А то боятся, в потемках помрем!

С реки донесся резкий звук винтовочного выстрела.

– Слышишь, учитель уже зовет! – поддержал разговор Иван. – Боятся... Сбежим...

– Комендатура, че ли? – догадался вдруг Павел.

– Она самая! – ухмыльнулся Иван и, не удержавшись, подковырнул простодушного остяка. – А ты – молодец! Моя – знай, твоя – не знай, а сам чешешь, как по газете, – комендатура...

Павел улыбнулся и смущенно проговорил:

– Мой коменданта знает. Каргасок живет, хороший рыпак!

– Шибко большой начальник! – поддерживал безобидную игру с остяком Иван. Он взял лопату, очистил ее о траву и проговорил, ни к кому не обращаясь: – Пойдем, что ли?

Люди последний раз поклонились могиле и молча пошли к лодке.

Рядом с лодкой, привязанной тонким тросиком к черемуховому кусту, врезался носом в прибрежную топкую грязь тяжело груженный обласок.

– Вот это рыба! – присвистнул удивленный Иван. – Настя, посмотри, отродясь столько не видел!

В обласке почти до самых бортовых набоек лежала рыба. Жирно золотились на рыжем солнце снулые язи. Пятнистыми лентами вились в куче зубастые шуки и злыми змеиными глазами пучились на столпившихся около обласка людей. Один щуренок-травянка уже наполовину заглотил средних размеров ельца.

– Вот дает, – рассмеялся Иван, – попался, а все равно глотает, ну и тварюга! – Он повернулся к остяку и с восхищением спросил: – Ты где столько наловил?

Павел горделиво улыбнулся и буднично ответил:

– Моя – тут зимовье на чуворе! Моя – рыпак! – и показал куда-то в сторону рукой.

– Давай прощаться, рыбак, – с сожалением проговорил Иван и пожал маленькую крепкую руку остяка. Все по очереди попрощались с Павлом и стали усаживаться в лодку.

Недалеко от берега, метрах в тридцати, тихо посапывал на якоре «Дедушка». С баржи нетерпеливо крикнул комендант Стуков:

– Вы скоро там?

– Чего торопишь? Скоро уже, – раздраженно ответил Иван. Павел внимательно смотрел на готовящуюся к отъезду лодку. Потом вдруг смешно хлопнул себя ладошкой по лбу и испуганно воскликнул:

– Ай-яй! Савсем дурной стал. Рыба – бери!

Испуг был такой непосредственный, Павел так искренне расстроился, что отказаться от бескорыстного предложения было нельзя. Ефим смущенно пожал плечами.

– У нас, паря, и купить-то не на што.

– Пошто купить! – возмутился Павел. – Так бери. Сам ешь, другим давай. Моя еще поймает. Рыба в реке многа! – успокоил он, решительно шагнул к обласку, нагнулся и стал перекидывать рыбу в лодку.

– Спасибо тебе, добрый человек! – дрогнувшим голосом поблагодарила Мария.

Иван посмотрел на большую кучу рыбы в обласке, потом на Настю, в глазах у него мелькнула шальная искорка. Он взял жену за руку и потянул ее из лодки.

– Дядя Ефим, тетка Мария, вы тут пока перегрузите рыбу? А? Мы быстренько!

– Идите, идите, – улыбнулась грустно Мария. – Управимся без вас!

Молодые забежали в густую черемуховую чащу. Ветви, усыпанные белыми цветами, заботливо укрыли их от посторонних глаз. Иван крепко прижал к себе Настю и стал покрывать ее лицо поцелуями.

– Не могу я, Настенька, больше так...

А Настя льнула всем телом к мужу и жарко шептала:

– Нехорошо-то как получается, Ваня. Не по-людски – могилка рядом.

Иван обозлился:

– А кто виноват? Я или, может быть, ты? Уже неделю живем вместе, а все еще не муж и жена. Это по-людски?

Только белая черемуха была свидетелем этой поспешной и горькой любви.

Деловито пытел «Дедушка», с трудом тащивший баржи вверх по реке. На палубе стояли обнявшись Иван и Настя.

А кругом кипела жизнь. Невысоко в небе беспорядочно вились мартыны. Они надоедливо и нудно кричали. Низко над рекой стремительно проносились утиные стаи. И где-то высоко-высоко, наполняя воздух густым вибрирующим звуком, пикировали бекасы. Перед носом парохода, почти касаясь воды, пролетали с берега на берег маленькие кулички-перевозчики. За ними непрерывно стелилась прозрачная лента из непрерывающейся простенькой песенки, которую, казалось, они так искусно ткали своими трепетными крылышками.

– Красота какая! Прямо молочная пена! – Настя показывает рукой на цветущую по берегам черемуху.

Течением баржу прижимает к берегу. Она с треском ломает ветви черемухи, склонившись к самой воде. Иван быстро отламывает проплывающую мимо него цветущую ветку и протягивает ее Насте. Та прижимает ее к лицу и с наслаждением вдыхает одуряющий с горчинкой запах. Потом поднимает голову и влажными глазами смотрит на мужа.

– Слышь, Ваня, ведь это родина будет нашим детям!

Иван молча прижимает к себе жену.

– Кто разрешил... Па-а-чему не в трюме?

Настя испуганно отшатнулась от мужа. Иван оглянулся на голос. Около открытой двери шкиперской каюты, как всегда застегнутый на все пуговицы, стоял комендант...

Глава 10

Над Васюганьем чистое безоблачное небо. Неторопливо бредет по водным разливам и дремучей тайге погожий июньский денек. Воздух наполнен горьковатым ароматом отцветающей черемухи и надоедливый комариным пискom, с которым не под силу справиться даже свежему ветерку.

На краю глинистого яра стоит сухощавый мужчина в форменной фуражке и гимнастерке, перепоясанной портупеей, к широкому поясному ремню прицеплена револьверная кобура, с другой стороны висит потертая военного образца планшетка. Его сильные ноги красиво обтягивают синие диагоналевые галифе, заправленные в хромовые сапоги, залепленные густой коричневой глиной. Внизу под яром тяжело пыхтит буксирный пароход «Дедушка», время от времени окутываясь струями плотного белого пара. Рядом с пароходом приткнулись к берегу две тяжело осевшие в воду баржи. Ниже по течению, метрах в ста, стоит второй караван речных судов.

Военный повернул голову и долго смотрел на пароход и застывшие в жутковатом безмолвии баржи, по его лицу пробежала неопределенная усмешка. Было видно, что он всецело находится во власти тревожного чувства. Наконец он тяжело вздохнул и отвел взгляд от речного каравана, затем, повернувшись, медленно направился к толстому бревну, выброшенному на берег половодьем.

Военный широко расставлял ноги, стряхивая прилипшую к сапогам глину, точно кошка, замочившая лапки, на лице у него была презрительная гримаса. Мужчина недолго постоял около бревна и осторожно опустился на него. Он смотрел куда-то вдаль поверх затопленных тальников, где в мерцающем мареве жаркого летнего дня синела далекая тайга. Взгляд у него был отсутствующим, он ничего не видел вокруг себя. Шутка ли – двадцать одна тысяча спецпереселенцев должна жить на его подотчетной территории. И уже в который раз он вытаскивает из потертой планшетки аккуратно сложенную кальку и разворачивает ее.

На плотной полупрозрачной бумаге тщательно вычерченный черной тушью Васюган со всеми его протоками, притоками и остояцкими и тунгусскими юртами. В правом верхнем углу выкопировки острыми буквами оцетинились слова «Совершенно секретно», скрепленные неразборчивой подписью. Красной тушью, точно кровавые пятна, помечены места поселения спецпереселенцев. Внизу схемы написано: «Средневасюганская участковая комендатура: комендант – Талинин М.И.».

– Вот так, Михаил Игнатьевич, – буркнул комендант, медленно свернул кальку и аккуратно вложил ее в планшетку. Он устало прикрыл глаза и стал мысленно перебирать в памяти все события нынешней весны, начиная с совещания, проведенного в Новосибирске начальником ОГПУ со вновь назначенными комендантами в марте месяце.

«Товарищи, мы учли печальный опыт прошлого года Кулайской комендатуры, – размеренно говорил начальник ОГПУ. – Когда девяносто процентов спецпереселенцев просто-напросто разбежались. Места заселения были близко расположены к железной дороге. Теперь, товарищи, принято решение заселить таежные реки Нарымского края. Это – Васюган, Парабель, Чая, Шуделька... Я, товарищи, не буду все их перечислять; вы их хорошо знаете по своим комендатурам, а еще лучше узнаете, когда откроется навигация. – Начальник строго оглядел присутствующих в зале, и в его голосе послышались металлические нотки. – Вы должны ясно понимать, какую задачу возложило на вас пролетарское государство. Вы – острый меч в руках государства, который должен карать и перевоспитывать всех инакомыслящих. Это, если хотите, устрашение тем, кто выступает против курса коллективизации, взятой партией и правительством. Мы должны с беспощадной жестокостью подавлять сопротивление врагов народа. Вытравливать, выжигать в сознании человека чувство частной собственности. Только в

коллективных хозяйствах, учит нас партия, будущее нашего народа и государства. И мы находимся на переднем крае труднейшей классовой борьбы, которую доверили нам партия и народ. Мы не позволим, чтобы нам мешали кулацкие элементы и их прихвостни. Совсем скоро вы разъедетесь по своим комендатурам, где будете полными хозяевами на своих участках, наделенных правами райкомов и райисполкомов. За порядок на территории комендатуры будут спрашивать с вас. Всякая отлучка без ведома комендатуры должна расцениваться как попытка к бегству, отказ от работы – как саботаж. Пусть они знают, что кроме Нарымского края у нас есть в запасе и другие места. После первой отлучки – особо тяжелые работы на половинном пайке, после второй – оформлять протокол и по этапу...»

Сидевший рядом с Талининым комендант Парабельской комендатуры неожиданно спросил:

– А если подросток или, скажем, старик?..

– На месте будете проводить разъяснительную работу. Возможности у вас большие!.. – Начальник скупо улыбнулся и энергично хлопнул ладонью по трибуне...

Талинин открыл глаза и внимательно оглядел местность.

– Да-а, тут, пожалуй, сбежишь! – он вдруг вспомнил дорогу от Кыштовки до верховьев Васюгана. Узкий, раскатанный санями до зеркального блеска зимник. Мартовские пронзительные утренники, заиндеветших от стужи лошадей, звонкий скрип полозьев. Застекленевшее пространство, облитое красным, совсем по-зимнему солнцем. И бесконечную, необозримую гладь Васюганского болота, укрытого ровным слоем снега. Среди этой безграничной равнины выросла на удивление огромная береза, вся покрытая мохнатым инеем. Словно нарочно кто-то вырезал дерево из благородного серебра и приклеил эту чудо-картину на синее небо.

Весь день скрипели полозья по застывшей тверди огромного болота, но даже жестокие сибирские морозы не могли с ним справиться. Кое-где по разные стороны от зимника темнели среди белого снега коварные пропарины. И не дай Бог сбиться с зимника в метель... Только поздним вечером засинела на горизонте Васюганская тайга. Уже ночью подъехали к первому хутору, где жил старик с окладистой сивой бородой и колючими недобрыми глазами. Под стать ему были три сына – угрюмые, неразговорчивые. Талинин невольно улыбнулся, вспомнив на хуторе девушку. Закрасневшие с мороза щеки, светлые волосы, выбившиеся из-под шали, приветливые глаза, делали ее совсем непохожей на своих братьев.

«Хороша девчонка, ничего не скажешь!» – неожиданно промелькнула у него мысль, и он снова углубился в свои воспоминания.

Зимник все бежал впереди саней, и не было ему ни конца ни края. Дорога то стелилась ровным следом по речному льду, то, вдруг вильнув, взбиралась по пологому берегу и упрямо прокладывала путь по засыпанным снегом веретям и пойменным сограм, спрямляя головокружительные изгибы речных поворотов. Остались позади Могильный Яр, Айполово с небольшой, но красивой церквушкой, на входной двери которой висел большой амбарный замок.

С этого селения начинался его участок. Талинин с интересом рассматривал свои владения, словно что-то можно было разглядеть в этом застывшем, безмолвном мире, который только-только начал понемногу оттаивать в полуденные часы. Невольно думалось, что в мире нет такой силы, которая смогла бы растопить снег и согреть заколдованную землю. Закутавшись в жаркий тулуп, он слушал бесконечный скрип санных полозьев. Он уже окончательно смирился с этой бесконечностью. Но вдруг – впереди показался высокий яр с поразительно красивой белой церковью. Вокруг нее было рассыпано десятка полтора домов с упершимися в голубое небо черными дымами. Среди крепких крестьянских дворов выделялись два высоких двухэтажных дома. Это был конец пути. Здесь – его комендатура.

– Комендатура... – кривит губы Талинин. – Нагнали двадцать одну тыщу кулацкой шантрапы... а я отвечай! – пробормотал вполголоса военный и зябко передернул плечами.

– Михаил, ты че-то сказал? – спросил тихо подошедший комендант соседнего участка – Нижневасюганского. Михаил поднял голову и повернулся к соседу. Это был живой подвижный человек с быстрыми серыми глазами, чуть полноватый; он перешагнул бревно, на котором сидел Талинин и опустился рядом с ним.

– Да нет, Кирилл. Про себя я, так просто...

– Так просто и чирей не сядет, – усмехнулся Кирилл, поправляя неловко сбившуюся кобуру: – Ну че, посидим на дорожку, и как в песне – «Тебе налево, мне направо...»

– Давай посидим!

Кирилл, вдруг сразу посерьезнев, озабоченно проговорил:

– Слышь, сосед! Сторожи своих да моих, если че, – перехватывай, ну а я – твоих! Нам с тобой держаться друг за дружку надо. Вон их какой муравейник; у тебя двадцать тыщ, да у меня чуток меньше. Разбегутся – хрен переловишь!

– Верно толкуешь, – согласился Михаил и, посмотрев на заречные дали, неожиданно закончил: – Только бежать-то здесь куда?!

Внизу под яром тихо посапывал пароход, за которым стояли две баржи, счаленные между собой. Черные, с обшарпанными бортами, они зловеще молчали. Только вооруженная охрана маячила на безлюдных палубах. Все спецпереселенцы были загнаны в трюм.

На носу баржи лежали покойники, прикрытые мешковиной.

День был жаркий. Июньское полуденное солнце сильно припекало. Высеребренная солнцем речная поверхность легко покачивала баржи. Они терлись боками друг о друга, тихо поскрипывая, точно жалуясь на незавидную роль, которую им приходится выполнять в эту навигацию.

– Не вспухнут, уж больно жарко?! – Кирилл показал на покойников.

– Ниче им не сделается, вечером закопаем! – равнодушно ответил Талинин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.